

- КРОВАВАЯ ЖЕРТВА В ГИЛАДЕ
- ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖОЙС И ЕГО ЗАГАДОЧНЫЙ "УЛИСС"
- РУКОПИСЬ МЕРТВОГО МОРЯ
- КОЛЕСО ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
- ГЕРОЙ ЭНТЕББЕ САМ О СЕБЕ
- ПОТЕРЯННЫЙ СОВЕТСКИЙ РАЙ
- КГБ ПРОТИВ ЦРУ

29

22

№ 29

1983

МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

Год издания V

№ 29

ЛИТЕРАТУРА

АМОС ОЗ. На этой злосчастной земле (повесть, перевод В. Фланчика)	3
КРУГ РАССКАЗЧИКОВ:	
ИЗРАИЛЬ ТЕПЛИК. Ангел смерти	46
ИЛЬЯ ЗУНДЕЛЕВИЧ. Восхождение.	51
КИРИЛЛ ТЫНТАРЕВ. Дейр Эль-Шамс	55
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА: Джойс и Беккет	
От переводчика:	
Джойс и его "Улисс": почему они не добрались до России	67
Джеймс Джойс. Сирены (глава из романа "Улисс")	69
Семюэл Беккет. Проза за так (перевод И. Шамира)	91
ПОЭЗИЯ	
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. Из цикла "Песни Венского карантина"	94
АЛЕКСАНДР ЛАЙКО. Из Анапских строф	98
ЭМИЛИЯ СЛЕЗИНГЕР. Из цикла: "Разлуки".	102
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ	
ИЗ КУМРАНСКИХ ТЕКСТОВ: "Устав Войны" (перевод А. Волохонского)	106
ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ	
ГИЛЛЕЛЬ ГАЛКИН. Колесо истории.	125
РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН. Парадигма Моисея.	134
АРЬЕ ВУДКА. Лестница Иакова	142
ДОКУМЕНТ	
Письма Йонатана Натаньягу (перевод М. Улановской)	145
УРОКИ ЗАПАДА	
ЭДУАРД АЛЕКСАНДЕР. Журналисты против Израиля	153
ДЖЭЙ ЭПШТЕЙН. Русские ведут в счете.	165
НОВЫЕ ИДЕИ	
ДЖОЭЛЬ КАРМАЙКЛ. Потерянный континент.	176
МАСТЕРСКАЯ	
ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ ШЕРМАНА	
КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ	
ПЕТР ВАЙЛЬ и АЛЕКСАНДР ГЕНИС. Потерянный рай (главы из книги)	196

НЕЛЛИ ГУТИНА. В поисках утраченной самоидентификации.	209
ЛЮДИ И КНИГИ	
Н. ДАН. Четвертая книга	219
Р. БЛЕХМАН. По страницам журналов	220
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ	222

На последней странице обложки — портрет актера Г. Патласа работы Н. Шермана.

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва—Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия.

В. Богуславский	Ю. Меклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	Я. Цигельман
Э. Кузнецов	И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор
ответственный секретарь — Лариса Герштейн
технический редактор — Наталья Рубина
корректор — Нина Островская

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacific Grove, Cf. 93950, USA

Y. Levin, VOA Russian, 330 Independence Ave, Washington, DC, 20547, USA

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

Великобритания

I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 1EW, England.

Типография "Дерби"
Тель-Авив

ЛИТЕРАТУРА

Амос Оз

НА ЭТОЙ ЗЛОСЧАСТНОЙ ЗЕМЛЕ

Ифтах* родился на краю пустыни. На краю пустыни вырыта ему могила.

Много лет ходил Ифтах по пустыне с кочевыми народами на виду у Аммона. Даже, когда пришли к нему старейшины и упросили стать судьей в Израиле, не вышел Ифтах из пустыни. Был он сыном пустыни, и за это избрали его старейшины Гиладские начальником над Израилем, потому что то были мятежные времена.

Шесть лет правил Ифтах. Во всех войнах взял он верх над врагами. Но и тогда лицо его не просветлело: не любил он Израиль и врагов не ненавидел. Был он сам по себе, но и себе самому был, как чужой. Никогда, даже укрытый стенами дома, не распускал Ифтах узкого прищура, будто защищал глаза от пыли пустыни и раскаленного добела света. Или, может, глаза его были обращены внутрь, потому что вокруг — на что им смотреть?

В день победы над Аммоном Ифтах вернулся в надел своего отца. Народ собрался, чтобы воздать ему почести, девушки пели: поверг и сразил. Ифтах же стоял сонный и безучастный. И был среди старейшин колена один, который подумал: "Морочит нас этот человек. Сердце его не с нами, а далеко".

Отца его звали Гилад Гилади. Рожден был Ифтах от блудницы-аммонитянки по имени Питда дочь Эйтама. Дочь свою Ифтах также нарек Питда. И в старости, перед смертью, видел Ифтах обеих, будто одну.

Мать умерла, когда Ифтах был ребенком. Сводные братья, сыновья отца, прогнали его в пустыню за то, что был он сыном другой женщины.

В пустыне собрался вокруг Ифтаха бродячий народ, угрюмый и отчаянный, но признали они Ифтаха своим начальником, потому что от него исходила власть. Когда хотел, он умел говорить с ними добром, когда хотел, голос его становился холодным и злым. И еще — стреляя из лука, объезжая лошадь или ставя палатку, Ифтах в движениях казался неповоротливым, нерасторопным или

* Иеффай в русском переводе Библии.

усталым. Но обманчив был его вид, как обманчива безобидность ножа в складках шелковой ткани. В нем была сила приказать: встань и иди, — и вставали, и шли, а Ифтах даже звука не произнес, только губы сложились в приказ. Говорил Ифтах скупо, потому что не любил слов и не доверял им.

Много лет провел Ифтах в горах среди пустыни. Терся возле него разный люд, шумливый и панибратский, но Ифтах к себе никого не приближал. Однажды пришли к нему старейшины Израиля просить, чтобы он сразился с аммонитянами. Подобрал полы одежд, чтобы не трепать их в пыли, они стали на колени перед сыном пустыни. Ифтах слушал их молча. Молча смотрел он на попорченную гордыню, как смотрят на рану. Потом в глазах его отразилась боль, но не боль преклоненных старейшин, а может и вовсе не боль, а будто бы мягкость. Он мягко сказал:

— Сын блудницы станет над вами вождем.

И старейшины отозвались:

— Станет вождем.

Было это в пустыне, за пределами земли Аммонитянской, за пределами земли Израильской, в безмолвии мертвых и зыбких песков, тумана, мелких колючих кустов, белых гор и черных камней.

Ифтах поразил аммонитян, возвратился в отчий надел, и обет свой исполнил. До последней минуты надеялся, что послано ему испытание, которое он выдержать в силах, до последней минуты верил, что, когда свяжет дочь и положит на жертвенник, скажут ему: не поднимай руки на отроковицу.

Потом вернулся Ифтах в пустыню. Он любил Питду и верил в ночные голоса, приходящие из пустыни.

Ифтах Гилады умер в горах в земле Тов, а Тов значит Добро. Люди рождаются, чтобы воочию увидеть свет дня и свет ночи и назвать свет светом. Но бывает, что человек приходит в мир безотрадным, проживает свой век в скорби и оставляет после себя ярость. Когда умер Ифтах, вырыл отец ему могилу и над могилой сказал:

— Шесть лет правил мой сын Израилем по милости Божьей.

И добавил:

— Милость Божья безвидна.

Четыре дня в году ходят девушки оплакивать Питду, дочь Ифтах. В отдалении бредет за ними слепой старик. Сухие ветры пустыни выветривают слезы из глубоких морщин. Но не под силу им выветрить соль, и она высыхает и разъедает кожу. Девушки уходят в горы. Днем их плач уносится в пустыню, в земли лис, ехидн и гиен, в земли, снедаемые белым слепящим светом. Ночью слышат его угрюмые кочевники земли Тов, и тогда начинают они свои песни, в которых горечь и страх.

2

Место, где родился Ифтах, лежало на самой окраине. Владения Гилада Гилади были последними в земельном уделе колена, и пустыня обгладывала здесь поля сеятелей, пробиралась в сады, а временами поражала людей и скот. Утром солнце пробивалось из-за восточных гор и принималось сжигать землю. В полдень, казалось, шел палящий град, губивший все, что встречалось ему на пути. На исходе дня солнце склонялось на запад и перед заходом бралось за вершины западных гор. В течение дня камни меняли цвет, и издали казалось, что они мечутся по земле и сгорают заживо.

К ночи земля успокаивалась. Свежие ветерки касались ее то здесь, то там, поглаживали, задерживались подольше. На склонах выступала роса. И, наконец, сжалившись, спускалась ночная прохлада. Преходяща была эта милость, но ведь давалась она из ночи в ночь, а чередуется все: рождение и смерть, ветер и вода; ненависть сменяется тоской, а тень приходит и уходит.

Хозяин надела Гилад Гилади был высок и дороден. Солнце обуглило кожу на лице Гилада. Всеми силами сдерживал он нрав, но прослыл самовластным. Слова, срываясь с уст Гилада, звучали как окрик. Временами получался шопот — ядовитый и злой, будто он напрягался в этот момент, чтобы заглушить какие-то другие голоса. Если он клал тяжелую уродливую ладонь на голову сына, загривок лошади или чресла женщины, то все знали, не глядя — это Гилад. Случалось, он трогал какой-то предмет не потому, что о нем заходила речь, и не потому, что он нужен для дела, а чтобы рассеять сомнения — материальность вещей удивляла Гилада. Иногда ему хотелось коснуться рукой того, что как будто не существует наощупь — звуков, запахов, печали. Когда наступала ночь, Гилад говорил порой: наступила ночь, как будто это было неясно без

слов. Вечером он призывал к себе козна, чтобы тот читал ему из Писания. Гилад весь подбирался и внимательно слушал. Даже в мелких делах он обращался к Богу, прося, чтобы родился бычок или чтобы Бог помог починить два треснувших глиняных сосуда. Временами Гилад смеялся без всякой причины.

Все это наводило ужас на рабов. Если в летний день Гилад поднимал к небу свое опаленное лицо и по полю разносился его гулкий и хриплый хохот, рабы от страха смеялись вместе с ним. По ночам его охватывала вдруг холодная ненависть к далекому и холодному свету звезд. Тогда криками он будил и созывал всех во двор — мужчин и женщин. Он наклонялся, обеими руками отрывал от земли тяжелый камень и поднимал его над головой. Глаза Гилада белели в темноте, и казалось, что он вот-вот размозжит кому-то череп. Но он вдруг сникал, лицо искажалось судорогой, как от удушья, он опускал камень, медленно наклонялся и мягко возвращал его на землю, как ставят стекло на стекло, чтобы не причинить боль ни камню, ни земле, ни тишине ночи. А ночи были в тех местах и вправду безмолвны, и голоса, если скользили они в темноте, были похожи на черные тени, которые ходят в глубине под водой.

Жена Гилада, женщина белая-белая и напуганная, была из рода священников и торговцев. Звали ее Нехушта дочь Звулуна. В девичестве знала она мечты и мрак отчего дома. Очень любила маленькие вещи и мелкую живность — бабочек и булавки, сережки, росинки, яблоневую завязь, подушечки кошачьих лап, шерстистость молочного ягненка, отблески света в брызгах воды.

Гилад взял ее в жены потому, что учуял в ней жажду, которую не утолить, не смягчить. Когда говорила Нехушта: вот камень, небо, долина, ее губы, казалось, звали: приди. Потребность прикоснуться к этой жажде, попробовать ее наощупь мучила его, как вдруг навязавшаяся мысль или чувство, пока не испытаешь их до конца.

Нехушта пошла за Гиладом потому, что видела его уныние и силу. Ей хотелось расколоть силу, пробить брешь в унынии, а потом отдаться им на милость.

Но ни ему, ни ей не суждено было познать другого, потому что есть тело и есть душа, а дойти до их сути, лежащей на дне, не суждено никому из живых. И вот не прошло и нескольких месяцев, а Нехушта стояла уже у окна и высматривала, не приви-

дятся ли ей за безжизненной далью окаймленные горами равнины черной тучной земли, откуда она была взята в пустыню. По вечерам она спрашивала Гилада:

— Когда ты увезешь меня?

— Да ведь я увез тебя, — отвечал Гилад.

— Когда мы оседлаем коней и уедем отсюда?

— Все места едины.

— Но я не могу больше. Хватит.

— Кто может? — отвечал Гилад. — Принеси мне вина и яблок, а сама иди в комнату или сиди себе у окна, только не смотри в темноту такими глазами.

За многие годы, родив Ямина, Емуэля и Азура, совсем заболела Нехушта. Что-то неотступно разъедало ее изнутри. Кожа ее не знала загара и оставалась влажной и тонкой. Она ненавидела пустыню, которая днем дышала в окно ее комнаты, а по ночам шелестела: пропало, или пропала; ненавидела дикие песни пастухов и рев скота в загонах и в снах. О муже временами говорила как о покойнике, детей называла сиротами. А иногда и про себя говорила: “Ведь я давно умерла”, и по три дня просиживала у окна без еды и питья. Место было глухое, и из окна она видела днем только песок и горы, а ночью — звезды и темноту.

Трех сыновей родила Нехушта дочь Звулуна Гиладу Гилады — Ямина, Емуэля и Азура.

Не могла она вынести нрава Гилада, его приливов, бурь и отливов. Если жаловалась она и плакала, взрывался Гилад, грохотал его голос и звенели осколки разбитого кувшина. Если тихо сидела у окна, глядя кота или перебирая сережки и булавки, Гилад оставался недалеко и смотрел на нее, а потом хрипло смеялся и шел от него козлиный дух. Сжалившись, иногда говорил:

— Может услышит Царь Небесный твою беду и пошлет за тобою кареты. Может статься, что сегодня или завтра придут факельщики, а за ними гонцы.

— Нет царя и не будет гонцов. К чему им спешить? Нет ничего, — отвечала Нехушта.

Тогда сердце Гилада переполнялось состраданием и яростью. Он казнил себя за боль, что ей причинил, бил себя в грудь и проклинал себя и весь свой род. Потом из жалости вырастало отвращение — к ней, к себе, к жалости, и он надолго закрывался в своих покоях. По многу дней не видела его Нехушта, пока в одну из но-

чей, перед рассветом, не приходил Гилад и не обрушивался на нее. В любви напрягал губы как человек, силящийся разорвать руками железную цепь. Приливы, бури, отливы и бездна.

Если ночью падал на лицо Гилада свет факела, то было оно похоже на одну из масок, в которых пляшут перед костром жрецы язычников. Бывает, что достается человеку жизнь отверженного в чужой стране, куда он неизвестно как попал и откуда не может выбраться.

Зимой душа Гилада опустошалась, он лежал, уставившись в свод потолка, смотрел неотрывно или не смотрел, но не видел. Тогда Нехушта неслышно приходила в его опочивальню и касалась его бледными пальцами, как домашний зверек, губы ее белели, как болезнь, и он отдавал ей свое тело — усталый кочевник женщине из придорожного шатра. В комнате было тихо.

Но когда просыпалась сила в Гиладе и поднимала тело на бунт против него, Нехушта пряталась в комнатах, а Гилад неистовствовал в пристройке для наложниц, вымещая на них бурю кипучего яда. Всю ночь не спадал приглушенный дрожащий гул, доносившийся оттуда, и вскрики наложниц. На заре выскакивал Гилад из пристройки, поднимал с постели козна, чтобы, распростершись у его ног, отплакать: нечист. Не успевали слезы сойти с лица Гилада, а он уже отталкивал козна тыльной стороной уродливой ладони так, что тот падал навзничь, седлал коня и скакал к гребням восточных гор.

Среди наложниц была одна — маленькая аммонитянка по имени Питда дочь Эйтама. Люди Гилада захватили ее в одном из набегов на аммонитянские города, что лежат за пустыней. Питда была невысока, узка в кости, но сбита добротнo. Глаза ее большей частью скрывались в тени ресниц. Но если зеленоватые искры пробивались сквозь ресницы и попадали на губы Гилада или ему на грудь, если останавливалась она против него, еле заметно поигрывая кончиками пальцев руки, упертой в бедро, — дрожь проходила по коже Гилада, и он клял аммонитянку на все лады. Рот его извергал проклятия, а огромные ладони сгребали руки наложницы. Захлебываясь, он кусал ее губы, и оба смеялись. Бедрa ее не останавливались ни на мгновение. Даже когда задерживалась Питда у входа в конюшню, чтобы вдохнуть запах конского пота, бедра продолжали свой танец, направляемый и сдерживаемый изнутри.

Огонь и лед горели зеленым пламенем в ее зрачках. Ходила Питда всегда босиком.

С течением дней стало известно, что Питда занимается колдовством. Из уст наложниц — соперниц Питды все узнали, что по ночам она смешивает разные зелья и при этом глаза ее светятся во тьме. Питда могла призывать умерших и говорить с ними, потому что с детских лет была посвящена в жрицы аммонитянского бога Милькома. В темноте из сада доносились шорохи, заглушаемые скрипом дверей внутри дома. Питда скрывалась в подвалах, зелье кипело и пенилось, и женская тень колыхалась на догнивающих седлах, бочках с вином, молотильных досках и железных цепях.

Когда дошло это до Гилада, он велел выдать ей мех с водой и услатить в пустыню к мертвым, которых она призывает по ночам, потому что не место колдуньям в Гиладе. Но с первым светом он оседлал коня, догнал ее и вернул домой. Во дворе он осыпал проклятьями ее богов и бил ее по лицу тыльной стороной широкой уродливой ладони. Дыша ему в лицо, Питда честила в ответ и его, и женщину, которая его родила, и бога, которому он служит. Потом вдруг оба расхохотались и вошли в комнату. Дверь за ними закрылась. В стойлах ржали кони.

Не могла больше вынести Нехушта, жена Гилада, и стала она возмущать сыновей против наложницы-аммонитянки. Стоя у окна, в белом платье, спиной к сыновьям и лицом к пустыне, шептала она: “Ваша мать умерла, а вы спускаете с рук. Не спускайте”.

Но Ямин и Емуэль боялись отца, и лишь младший Азур затаил зло против аммонитянки.

Целые дни Азур проводил на псарне. Он кормил и поил собак, учил их слушать команду и, если прикажут, вгрызаться в горло. В Мицпе, а так назывались владения Гилада, говорили про Азура: этот понимает собачий язык и умеет лаять и выть в темноте, как один из их породы. Был у Азура щенок волчьих кровей, с одной тарелки ели, из одной чашки пили, и острые зубы обоих блестели на солнце.

Однажды, в начале осени, когда Гилад уехал на дальнее поле, Азур натравил своих собак на аммонитянку. Стоя в тени дома, издал он гортанный вскрик-перелив, и псы, глодавшие кости на свалках, бросились на аммонитянку. Еле отбили Питду от собак, готовых разорвать ее на мелкие части.

К ночи вернулся Гилад и отдал младшего сына в руки раба с морщинистым недобрим лицом и лысой макушкой, велел увести Азура в пустыню, как поступают в Мицпе с убийцами. Вечером заголосили звери пустыни, и за изгородью стали вспыхивать желтым светом чьи-то глаза.

И на сей раз на исходе ночи поскакал Гилад вдогонку и вернул сына. Он бил его по лицу и осыпал проклятьями, как до того наложницу-аммонитянку.

А потом заговорила Питда Азура: сорок дней мальчик лаял и выл по-собачьи и не мог вымолвить слова.

На Гилада нагнала Питда черную хандру за то, что пожалел сына. Была она беспощадна к щадящему. Жгучая тоска обступила Гилада, и, чтобы отогнать ее, нужно было очень много вина.

Когда родился Ифтах, Гилад не выходил из подвалов четыре дня и пять ночей. Он наполнял по два кубка, сводил их вместе, выпивал оба и наливал снова. На пятую ночь свалился Гилад. Во сне явился ему черный всадник на черном коне. Копье его горело черным огнем. Коня вела под уздцы женщина, не Питда и не Нехушта — другая. Всадник и конь шли на поводу, а она вела их, не касаясь земли. Гилад запомнил свой сон, потому что верил, что сны посылаются нам из тех мест, откуда пришел человек и куда он вернется по смерти.

Когда Ифтах немного подрос и стал выходить из пристройки, он научился прятаться от отца. Он быстро постиг, что лучше ему схорониться за стогом, пока не пройдет по двору этот тяжелый, большой человек. Дожидаясь, когда стихнет грозящий недобрим шаг Гилада, мальчик жевал соломинку, посасывал палец и говорил себе шепотом: тихонько, тихонько. Если, замечтавшись, не успевал укрыться, отец подхватывал его подмышки, зажимал между жутких ладоней и раскачивал на весу. При этом Гилад, раздувая щеки, мычал, и в нос Ифтаха бил острый козлиный запах. Ребенок крепился, потом кричал от боли, а больше от страха, и пытался вонзиться зубами в плечо отца. Гилад не чувствовал укуса.

3

Ифтах родился против пустыни. Земли Гилада были последними в уделе колена, за ними начиналась пустыня, а за нею лежал Аммон.

Были у Гилада отары овец, были поля и виноградники, края которых желтила пустыня. Жилые постройки были обнесены высокой стеной, сложенной из камня. Из того же черного камня вулканической породы был построен и дом. Но весной казалось, что люди, входящие в дом, исчезают в непролазных сплетениях лоз дикого винограда, который так разросся за многие годы, что листва его надежно скрывала весной черные камни.

На рассвете позванивали колокольцы скота, свирель пастуха рассыпала смутные грезы, вода чуть слышно журчала в каналах. Покой лежал на землях Гилада. Но сквозь рассветный покой кое-где пробивался страх прошедшей ночи и наступающего дня. В тени ветвистых деревьев прятались холодные сумерки.

Каждую ночь пастухи в темных накидках с капюшонами, низко надвинутыми на глаза, охраняли надел от кочевников, медведя и разбойника-аммонитянина. На крыше всю ночь горели факелы, между деревьями в темноте сада рыскали тощие собаки. То здесь, то там мелькала вдоль стены тень козла, заклинавшего злых духов.

С детства Ифтах научился различать звуки ночи. Он чувствовал их нутром — ветер, волков, ночных птиц, человека, который, пытаясь подобраться неслышно, маскирует свой шаг под шорохи ветра, завывание лис или всполохи птиц.

По ту сторону стены простирался другой мир, который силился стереть с земли жилье человека и с бесконечным терпением и хитростью денно и ночью подтачивал его устои, как воды реки по крупнице смывают свой берег. Все совершалось бесшумно и мягко — мягче пера, бесшумнее ветра, но неуклонно и явно для всех.

За Ифтахом ходили следом черные козы. Он научился водить их на выпас и мог часами следить за тем, как они с остервенением объедают редкий колючий кустарник или, рискуя сломать шею, перепрыгивают в высоте с камня на камень в поисках клочка травы, затерявшегося в расщелинах гор. С мальчиком водили дружбу костлявые собаки его брата Азура, собаки-волки, собаки-шакалы, в подобострастии которых всегда проглядывало неприрученное звериное нутро. Привечали Ифтаха и птицы пустыни, кричавшие ему на ухо: чужак, чужак.

Утро начиналось далеким пересвистом невидимых птиц. Вечером, с наступлением сумерек, вступал сверчок, который был так взбудоражен своим неотложным сообщением, что никак не мог выговорить его до конца. Темнота была полна для Ифтах шорохов и шелестов, которые пронзались вдруг завыванием лисы или шакала. А потом хохотала гиена.

Время от времени под покровом ночи на владенья Гилада набегали кочевники. Пастухи в темноте подстерегали врага, и он приходил неслышно, как дыхание. Посеяв смерть, беззвучно растворялся во мгле; встретив смерть, беззвучно умирал. Утром под оливковыми деревьями находили человека, лежащего на спине — рука обнимает рукоятку кинжала, проткнувшего грудь, глаза закатились. Из пастухов или из кочевников.

Летом в садах закипало цветение. Созревающий плод наливался и набухал. В яблочных жилах бродили кипучие соки. Виноградные лозы дрожали от биений нектара, который прорывался к гроздьям, расправлял их и грозил разорвать. Козлы бесновались от разбиравшей их страсти, бык ревел и метался в загоне. Пристройка наложниц и шалаши пастухов дышали по ночам глубоко и порывисто, и на рассвете мальчик слышал сквозь сон хрипы, будто поблизости испускал дух большой и тяжелый зверь.

Женщины были и в снах: сердце мальчика сжималось от прикосновений чего-то теплого, расслабляющего — шелка не шелка, воды не воды, кожи не кожи, волос не волос, а может быть, даже не прикосновений, а струения вод, запаха, цвета, но нет — не струения, не запаха и не цвета.

Названия нежным силам, которые он мечтал изведать, Ифтах найти не умел. Он не любил слов и поэтому был молчалив. В летние ночи он плыл вверх по течению, мягко рассекая встречную рябь.

Утром брал нож и терпеливо, упрямо пробовал все, что попало под руку: землю, кору, шерсть, настриженную с овец, камень, воду.

Переменчивый нрав отца не прорывался наружу у сына. Ифтах был тонок и крепок. Цвета, звуки, запахи и предметы влекли его куда больше, чем слова и люди. В двенадцать лет он умел держать топор, овцу, дубинку, повод. В умелой хватке Ифтах чувствовалась сдерживаемая радость.

Время шло, и ненависть братьев Ямина, Емуэля и Азура сгустилась вокруг Ифтах. Они не могли примириться с тем, что он был сыном другой, что молчал, как казалось им, из гордыни, что был невозмутим и что за невозмутимостью угадывались какие-то затаенные настырные мысли, не терпящие соучастия. Изредка братья звали его поиграть, и он шел и играл с ними без слов. Если побеждал, не радовался и не торжествовал, а молчал, и молчание было для братьев еще обидней и ненавистней. Если брал верх один из них, всегда казалось, что Ифтах уступил победу по расчету, или по пренебрежению, или потому, что мысли его рассеялись в самом разгаре состязанья.

Все трое — Ямин, Емуэль и Азур — были широкоплечи и коренасты. По складу характера — шумливы, легко и громко смеялись. Ифтах же был тонок, и кожа его отливала желтизной. Даже когда смеялся, смех будто отгораживал его от других. И еще, бывало, устремит взгляд на кого-то, смотрит в упор и не отводит глаз, когда, казалось давно пора бы отвести. Иногда подскальзывал в его взоре желтый стремительный блеск, вспыхивал и гас, но успевал заставить других отступить, уступить.

То ли ворожба матери охраняла Ифтах, то ли боялись братья отца, но не осмеливались они исполнить злые помыслы, которые лелеяли втуне. Только издали, сквозь зубы цедили: погоди.

Однажды Питда сказала сыну: "Плачь, зывай к нашему богу Милькому. Он услышит тебя и оградит от их шипенья и жала". Но в этом Ифтах не послушался матери. Он не зывал к Милькому, богу Аммона, а только кланялся Питде и величал ее: "Госпожа моя мать", будто в его глазах была она хозяйкой дома.

Питда видела свою смерть и хотела, чтобы сыну, которому жить среди чужих, осталось от нее в наследство благословение бога Аммона. Поэтому она варила зелья и по ночам пила ими Ифтах. Ифтах не верил в зелья, но не отказывался их пить. Он любил их странный горьковатый запах, который знал с детства, потому что так пахли руки матери. Питда рассказывала сыну о том, как аммонитяне приносят на алтарь Милькома вино и шелка, как в отличие от черствого Бога Гилада, который посылает мучения тем, кто предан ему, Мильком любит шумные сборища, веселье, вино, безудержные песни и музыку, доводящую до иступления. Про Элоима, Бога Израиля, говорила, что он бог-бобыль, что он жесток и к тем, кто согрешил перед ним,

и к тем, кто верен его заветам; что он причиняет боль и тем и другим, чтобы показать им, насколько они ничтожны.

Летними ночами Ифтах любил разглядывать звезды над пустыней и землями Гилада. Для него каждая звезда была сама по себе, независимо от других. Одни блуждали всю ночь от края до края черного небосвода, другие застывали, навечно прикованные к месту. В них не было ни радости, ни печали. Если одна вдруг падала, другие просто не замечали и продолжали безучастно излучать ровную синеватую прохладу. Упавшая звезда оставляла за собой шлейф холодного огня, но он гас, и возвращалась тьма. Если стать босиком на землю, сжаться и замереть, можно было услышать безмолвие между набегающими волнами тишины.

Козн, наставлявший братьев, обучал грамоте и Ифтаха, читая с ним Священные книги. Однажды мальчик спросил его, почему Бог выбрал Эвеля, Ицхака, Якова, Йосефа и Эфраима, предпочтя их первородным — Каину, Ишмаэлю, Эсаву и Менаше*. Ведь значит от Бога пошло все зло, описанное в Книге, значит, к Нему взывает из земли кровь Эвеля? Козн был крепким, здоровым мужчиной, но всю жизнь он сгибался перед гневом своего господина Гилада и поэтому казался ниже и уже в плечах. В его глазах постоянно гнезвился страх. На вопрос Ифтаха козн ответил: "Пути Господни неисповедимы, и кто мы, чтобы спрашивать: почему?"

Ночью Бог пришел к Ифтаху — грузный и волосатый, бог-медведь с хищными челюстями. Он навалился на Ифтаха, тяжело дыша, будто слабел от голода или исходил злобой. Не просыпаясь, Ифтах закричал. Люди часто кричали со сна в доме Гилада, потом крик замирал и за ним воцарялось безмолвие.

В сны Ифтаха проскальзывали летними ночами и Мильком. Сладкая истома разливалась теплом по жилам, когда кожи его касались шелковые пальцы, ласковые токи пронизывали тело. После таких снов Ифтах, как потерянный слонялся по огромному двору из тени в тень, и даже желтые искры не зажигались в зрачках.

С четырнадцати лет Ифтаху стали являться знамения. Они обрушивались на него, когда мальчик выходил в поле или гнал скот

*При передаче библейских имен переводчик руководствовался целью их максимального приближения к языку первоисточника, т. е. к ивриту. В случае, когда такая транскрипция значительно расходится с искаженным вариантом, закрепившимся в русской традиции, дается соответствующее примечание: Эвель — Авель, Ицхак — Исаак, Ишмаэль — Измаил, Менаше — Манассия.

по дну пересохшего русла. Ифтах чувствовал, что они посланы ему и что он призван. Однако, в чем смысл знамений и кто его призывает, понять не мог. Тогда он падал на колени, как учил его коэн, и бился лбом о камень, умоляя: сегодня, сейчас.

В мыслях Ифтах клал на разные чаши весов милость Милькома и милость Элоима. Первая казалась ему легковесной, и снискать ее ничего не стоило, как привязанность собаки — поиграй с ней, почешу за ушами, и она виляет хвостом, готова лежать у ног и даже охранять твой сон, примостившись под боком на краю поля. Милости Элоима просить не осмеливался, потому что не знал, как подступиться к ней. Бывало, вспенится горделивая мысль в сердце Ифтаха: пусть я последыш, а кем были Эвель, Ицхак, Яаков? Но тотчас же гас огонек: что за сравнения, ведь я сын другой, как Ишмаэль, рожденный от египтянки?

В память Ифтаха врезались слова, услышанные от Гилада: чтобы приблизиться к Богу, надо уподобиться бабочке, но не тогда, когда она подлетает к цветку, а тогда, когда летит на огонь. После этих слов Ифтах не упускал случая испытать силы и волю. Он пробовал себя на отвесных скалах, в песчаных смерчах, в глубоком колодце и в единоборстве с волком. На волка Ифтах вышел однажды ночью, подстерег его у входа в логово и голыми руками сломал волчий хребет. Из этого испытания он вынес только следы волчьих когтей и зубов. Ифтах хотел заслужить расположение Элоима и осенью приучил себя, сцепив зубы, держать руку на огне.

За одним из таких занятий Ифтаха застиг коэн, и тотчас же донес своему господину, что маленький аммонитянин держит руку в огне. Гилад выслушал коэна, и лицо его исказилось от раздражения. Глаза еще источали ярость, а рот дико расхохотался и обрушил потоки брани на голову коэна. Потом Гилад протянул руку, и коэн, как подкошенный, опрокинулся навзничь.

В тот же вечер Гилад распорядился разыскать сына наложницы и привести к нему. В комнате горел огонь, потому что ночной воздух в пустыне холоден, сух и колюч. На стенах висели седла, медные цепи, гладко отполированные щиты и дротики. Металл улавливал и сливал воедино мигающие отсветы, чтобы вернуть их в комнату светом тоскливым и тусклым.

Гилад уставил серые глаза на вошедшего и некоторое время не мог вспомнить, зачем понадобился ему сегодня сын аммонитянки и о чем лают собаки за окном. Когда молчание иссякло, спросил:

— Говорят, ты опускаешь руку в огонь, водишь ею и не кричишь.

— Это правда, — ответил Ифтах.

— Для чего? Ведь это дурно и больно.

— Я готовлюсь, господин мой отец.

— К чему?

— Не знаю, отец.

Отвечая, Ифтах не сводил глаз с широкой и уродливой ладони Гилада, распластавшейся на глиняной табличке. Его собственные руки, желтоватые и худые, отяжелели, будто вобрав в себя все чувства Ифтаха — благоговение и тягу. Может представлял Ифтах, что отец откроет перед ним свое сердце, может ждал, что от него потребуют ответной любви. В тот момент, единственный раз в жизни, Ифтаху безотчетно захотелось стать женщиной. В глиняной переносной печи посреди комнаты пылал огонь. По стенам обугливались металлические доспехи. Одна из искр мерцала в глазах Ифтаха.

Гилад тихо сказал:

— Посмотрим.

Ифтах хотел найти взгляд отца, но по лицу Гилада бежали тени, сменявшие отблеск языков пламени, которые извивались в печи.

— Прикажи, и я исполню твою волю, — ответил подросток.

— Опустит руку в огонь, — приказал Гилад.

— Если этим я завоюю любовь.

Ифтах протянул руку, и зубы его обнажились, будто в усмешке, но он не смеялся.

Тут не выдержал Гилад и вскричал:

— Хватит! Не смей! Не касайся огня!

Но Ифтах не послушал и не отвел глаз. Огонь коснулся плоти, а за оградой простиралась пустыня, уходившая за гряды далеких холмов.

Потом Гилад сказал:

— Ты нечист, и порода твоя не чиста, но я не в силах ненавидеть тебя.

Он наклонил глиняный сосуд, разлил вино в две грубые кружки и сказал:

— Выпей со мной, сын.

Ни отец, ни сын не доверяли словам и не любили их, поэтому остаток ночи они провели в полном молчании. Когда стало светать, Гилад поднялся и изрек:

— Теперь, сын, иди. И запомни: отца не надо ни любить, ни ненавидеть. И вообще, глупо, что каждый или сын для отца, или отец для сына, или муж для жены. Ведь дали не сблизить. Ну, иди же, хватит пялиться на меня.

4

После того дня случалось, что отец и сын седлали по утру коней, выезжали по дну пересохшего вади и по склонам гор поднимались на открытую безводную равнину. По ней они ехали медленно, словно во сне. В раселинах упрямо и отчаянно пробивался колючий кустарник. Казалось, что это не растения, а волосаной покров, под которым скрывается чрево камней. Белый беспощадный свет, сливавший воздух с песком, истреблял все, что тянулось к нему из земли. Отъехав подальше, Гилад нарушал молчание, и на минуту их сводил разговор.

— Ну, Ифтах, куда бы ты хотел направить коней? — спрашивал он.

Прищурив глаза от слепящего света, Ифтах отвечал:

— Туда, где мне место. Туда, где мой дом.

Лицо Гилада прорезала трещина — он улыбался, трещина затягивалась, и он продолжал:

— Почему же нам не повернуть коней и не вернуться домой?

Улыбка словно переходила к Ифтаху. Голос его звучал рассеяно, как будто издалека.

— Это не мой дом.

— А где то место, которое ты называешь своим?

— Этого-то я еще не знаю, отец.

Разговор замирал, к каждому возвращалось молчание и вновь замыкало свой круг. Но сейчас круг был вписан в круг, и получалось, что молчание у них теперь одно на двоих. Сердце Ифтаха переполняла любовь, и он мягко гладил гриву коня. Однажды, когда они въехали в черную базальтовую долину, он спросил отца:

— В чем смысл пустыни, о чем думают ее безжизненные пространства, почему ветер вдруг налетит и исчезнет, чем слушать многоголосье, а чем — тишину?

— Ты сам по себе, — ответил Гилад, — и я сам по себе. Каждый сам по себе.

И, смягчившись, добавил:

— Вон ящерица. А вот ее уже нет.

И оба погрузились в молчание, ставшее общим.

На обратном пути Гилад Гиладу иногда протягивал широкую уродливую ладонь и брал под уздцы коня Ифтаху. Некоторое время они скакали рядом, плечо к плечу. Потом он убирал руку, они въезжали в границы надела и спешили к конюшни. Ифтах оставался во дворе, а Гилад входил в дом.

Наступила зима. Питда по ночам часто приходила в комнату Ифтаху. Примостившись на краю постели, она говорила с ним шепотом, и, если смеялась, Ифтаху обдавало теплом. Мальчик крепился, но низкий смех матери брал верх, и он беззвучно смеялся вместе с ней. Питда пела сыну нежные аммонитянские песни о тихих заводях и бурных разливах, об оленях в оливковых рощах, о душевных муках и милосердии.

Она брала его руку и медленно, так, что кончики пальцев едва касались кожи, проводила ею по тыльной стороне своей ладони, от запястья до плеча и выше к мягкому шелковистому затылку. Питда не оставляла надежды поручить сына жизнерадостному богу Милькому. Быстрым шепотом она пыталась поведать ему тайны, хранимые телом, рассказать, на что способна плоть, в чем ее слабость и сила. Слова ее звучали странно и непривычно. Она заклинала Ифтаху бежать от пустыни туда, где тень и вода, пока пустыня не иссушила насмерть его кровь.

Ифтах никогда в жизни не видел моря, не знал, как оно пахнет, как шумит по ночам прибой, но мать называл: госпожа моя, море.

Однажды после ухода Питды Ифтаху приснился сон. Раб с морщинистым лицом и лысой макушкой стриг овцу. Гора настриженной шерсти росла, а он все стриг, пока не показалась кожа, розовая и болезненная, иссеченная тысячей жилок, а раб стриг и стриг. Потом он заколол овцу, но не перерезал ей горло, а вспорол живот, и черная кровь забила струей, пузыряясь и обдавая Ифтаху. В сон вошел Элоим, в медвежьих шкурах, огромный,

краснолицый, пылающий жаром. На подстилке из виноградных лоз лежал уже Мильком в золоте и шелках. Ифтах видел, как Элоим прорывается сквозь шелка, словно баран, который пробивает себе путь, набрасываясь на овцу. Глаза его налиты кровью, а овца, одуревшая от ярости, обрушиваемой на нее, давно уже сметена и покорна.

Ифтах проснулся в поту. Его лихорадило. Он открыл глаза и увидел темноту. Закрыл и остался в крошечной тьме. Шепотом он прочитал молитвы, которым его учил коэн, но темнота не рассеивалась; попробовал песни, слышанные от матери, — вокруг по-прежнему было темно. Ифтах лежал, боясь пошевелиться, потому что ему представилось, что, пока ему снится сон, отец, мать, коэн, наложницы, скот, пастухи, сводные братья, собаки и даже кочевники, жившие за стеной, собрались в одном месте, легли на землю и их взяла к себе смерть, а он остался один в пустыне, которой нет ни конца, ни края.

В одну из ночей на исходе той зимы умерла Питда. Утром наложницы говорили: "Умерла колдунья, блудница аммонитянская".

В день, когда ее хоронили за стеной кладбища, на горизонте появился серый песчаный смерч, который рос, но не приближался. Земля покрылась тонким слоем чего-то, напоминающего пепел. Воздух стал гуще от пыли и запаха надвигающейся бури. Коэн бросил горстку земли на могилу и произнес заклинание: "Встань и выйди от нас! Возвращайся туда, откуда ты родом, будь проклято это место, и откуда в недобрый час взята была к нам. Не тревожь нас ни в темноте, ни во снах. Остерегись: если нарушишь наказ, то и в смерти достигнет тебя проклятие Бога и бесы нагонят на тебя страх преисподней. Прочь, нечистая, прочь! Дай нам покой! Амен".

Ифтах стоял рядом. Он водил камешком по губам; пробуя его твердость, и в душе умолял: "Ну, Элоим, ну, пожалуйста, протяни надо мной Свою руку, и я буду служить Тебе верой и правдой. Коснись меня, а потом можешь сделать самой тощей и самой паршивой овцой в Своем стаде. Только не оставляй одного".

Когда могилу зарыли, небо посерело и как бы осело на землю. В воздухе появились какие-то черные сгустки. Ветер гнал их к да

леким восточным кряжам, чтобы там размогнуть о скалы или пробить ими брешь в горной цепи. Потом через все пронеслась белая молния, обогнавшая на мгновение низкий рокошущий гром. Дом, сложенный из темного вулканического камня, стоял среди бури как остов, как руины уже сгоревшего строения.

Вернувшись с кладбища, Ифтах решил пройти в дом. Трое братьев Ямин, Емуэль и Азур стояли в полумраке арки на входе, плотно вжавшись в серые стены. Пройдя под узкими сводами, Ифтах едва не задел их плечами. Ни один из братьев не шелохнулся. Только волчьи взгляды ощупали кожу Ифтаха. Слов не было — ни у него для них, ни у них для него. Он прошел, а братья по-прежнему стояли молча, и даже шепот не проскользнул между ними. Весь день они ходили втроем по коридорам, ступая мягко и бесшумно, а ведь ноги их привыкли чувствовать под собой землю. На цыпочках ходили Ямин, Емуэль и Азур, как будто брат их Ифтах был тяжело-тяжело болен.

В сумерках поднялась с постели Нехушта и из своих покоев прошла к облюбованному окну. Но на этот раз она не стала смотреть на пустыню, а повернулась к окну спиной и подняла глаза на Ифтаха. Рукой, белой как боль, она провела по волосам и сказала:

— Теперь и этот детеныш осиротел.

А сыновья ответили:

— Да, ведь его мать умерла.

Но она сказала еще:

— Вы большие и темные, а он, один из вас, желтый и очень худой.

— Худой и желтый. Но не один из нас, — ответил старший Ямин. — Смотрите, день подходит к концу.

Той же ночью Нехушта, мать других, пришла проведать Ифтаха. Она пришла босиком, как приходила Питда, только в руке ее была белая свеча, пламя которой дрожало и извивалось. Ифтах видел, как, слабо улыбаясь, Нехушта приблизилась к постели. Потом по лбу Ифтаха скользнули пальцы, прохладные, как мох.

— Спи, сирота, закрой глаза и усни, — мягко прошептала Нехушта.

Ифтах не знал, что ответить, а она продолжала:

— Теперь ты мой, худой и одинокий детеныш. Закрой глаза и усни.

Кончиками пальцев она коснулась груди Ифтаха и убрала руку. Выходя из каморки под крышей, где он ночевал, Нехушта

потушила светильник. Забрала она и свечу, оставив за собой крошечную тьму.

Всю ночь за окнами неистовствовала буря. Ветер, разгулявшийся не на шутку, проверял, выдержат ли стены его бешеные наскоки. Подпоры дома стонали от напряжения. Деревянные потолки скрипели на разные лады. Во дворе бесновались собаки. Ревел перепуганный скот.

Ифтах провел эту ночь, притаившись за дверью. Держа в зубах нож, он ожидал: пусть только придут. Ему чудилась мягкая поступь, нестихающая по ту сторону двери, шелест ткани, цепляющей о камень. Верхняя ступенька лестницы, ведущей под крышу, слегка поскрипывала и шуршала. Снаружи хохотала гиена, пронзительно кричали ночные птицы, и на исходе любого звука звенел металл. Дом, сады и поля стояли окруженные стеной молчания и вражды.

С первыми лучами света Ифтах выскользнул из окна и, не выпуская ножа из зубов, спустился по виноградным лозам во двор, где в тот час не было еще ни души. Он запасся водой, взял хлеба и длинный кинжал, украдкой вывел коня и убежал в пустыню, спасаясь от братьев Ямина, Емуэля и Азура.

Господин и повелитель, хозяин надела Гилад Гилади не пришел на могилу Питды, похороненной за стеной кладбища, ни после погребения, ни вечером, ни ночью.

Вышло солнце. Буря утихла. Ненасытные поры пустыни, вобравшие за ночь лавины воды, закрылись, и пески как ни в чем ни бывало излучали свой обычный нестерпимо сверкающий зной. Бескрайняя белизна не знала ни компромиссов, ни милосердия. Только в трещинах и лунках камней стояли еще кое-где мелкие лужицы, и, чтобы ослепить их, солнце вонзило в каждую по лучу. В какой-то момент у Ифтаха мелькнула мысль, что, может быть, на дне этих выемок прячутся осколки молний, которые куржились ночью на небе. Все эти картины Ифтах видел раньше во сне. И все звало его: приди.

Уже несколько часов конь уносил его все дальше и дальше от отчего дома, и вдруг сердце Ифтаха прояснилось и подсказало: в Аммон. Сейчас он найдет пристанище в Аммоне, но пробьет час, и он вернется с полчищами аммонитян и выжжет ненавистную землю. А когда займется огонь и примется пожирать все вокруг, спешится Ифтах Аммони, войдет в полымя и вынесет на руках

полумертвого старца. Он уложит его на землю, запорошенную пеплом, и склонится над ним, чтобы смочить его губы и перевязать раны. Когда Гилад потеряет все: жену, надел, сыновей, что останется ему, кроме последнего сына, который вынес его из огня?

И тогда наконец они смогут выйти вдвоем в поисках моря.

Ночью того же дня писец в доме Гилада записал в свою книгу: "Не жить Ифтаху в доме отца, потому что он рожден от другой". И еще: "Тьма и ярость порождают ярость и тьму. Злосчастно свершившееся. Злосчастен бегущий, злосчастны те, кто остались. Злосчастливым будет конец. Да простит Господь раба Своего".

5

Долго прожил Ифтах среди аммонитян в городе Авель-Крамим. Их наречье, законы и песни он знал с детства, потому что его мать была аммонитянкой, которую захватили люди Гилада в одном из набегов на аммонитянские города.

В Авель-Крамим он отыскивал старейшин рода Питды и всех ее братьев. Люди знатные и почтенные, они приняли Ифтаху и ввели его в замки и храмы. Князя Аммона уважали Ифтаху, потому что голос его звучал холодно и властно, потому что в зрачках его зажигалась желтая искра и потому что Ифтах был скуп на слова.

Про него говорили:

— Этот рожден быть господином.

Говорили:

— Невозможно, кажется, поколебать его покой.

И еще говорили:

— Кто знает?

В стрельбе из лука, на веселой пирушке людям казалось, что Ифтах медлителен, нерасторопен или устал. Но обманчив был его вид, как обманчива безобидность ножа в складках шелковой ткани. Была в нем сила приказать: встань и иди, и люди, видевшие его впервые, вставали и шли, а Ифтах еще звука не произнес, только губы сложились в приказ. Даже когда обращался к старейшему из старейшин города Авель-Крамим, мог сказать: "Говори. Я готов тебя слушать", или "Не надо. Потом", и что-то внутри заставляло вельможу ответить:

— Пусть будет по-твоему, мой господин.

Многие женщины Авель-Крамим искали любви Ифтах. Как отец его Гилад, Ифтах был наделен силой, идущей от уныния, и мощью, идущей от силы. Женщины тянулись к нему, потому что хотели расколоть силу, пробить брешь в унынии, а потом от-даться им на милость. Ночами среди шелковых тканей ложа они шептали ему на ухо: чужой, чужой. Когда тела соприкасались, коротко вскрикивали. Не нарушая безмолвия и течения своих далеких мыслей, Ифтах заставлял их взмывать до кипучих стремительных созвучий, изнывать на одной томительной ноте, наливаясь теплом как почка, грозящая лопнуть от распирающих соков, и медленно еженощно плыть вверх по течению до изнеможения всех жизненных сил.

В те дни правил в земле аммонитян Гатаэль, царь-юноша, царь-подросток. Когда предстал перед ним Ифтах, царь стал разглядывать его, как слабый больной ребенок, увидевший возницу самой быстрой колесницы в стране. Потом попросил: пусть чужестранец расскажет ему какую-нибудь сказку, чтоб усладить царский сон.

Вечерами Ифтах проходил в покои царя, чтобы поведать о том, как безоружными ходят на волка, как враждуют между собой пастухи и кочевники, как белеют в пустыне иссохшие кости, как беспокойно ночное дыханье пустыни в часы полуночной стражи. Иногда царь-подросток просил: еще, расскажи мне еще; иногда умолял: не уходи, Ифтах, посиди со мной, пока сон не укроет меня от темноты; иногда заходился тоненьким смехом и не мог остановиться до тех пор, пока Ифтах не клал руку ему на плечо и не говорил:

— Хватит смеяться, Гатаэль.

Тогда царь переставал смеяться, смотрел на Ифтах скорбными голубыми глазами и просил: еще, расскажи мне еще.

С течением времени царь Гатаэль приблизил Ифтах и всегда с опаской следил за тем, чтобы в зрачках чужестранца не зажигались желтые искры. Придворные Гатаэля роптали: раб, пришедший в Авель-Крамим из пустыни, оплетает сердце царя, а мы бездействуем и молчим.

Гатаэль проводил дни за чтением летописей. В мечтах он видел себя одним из тех грозных царей, которые наводили страх на многие народы. Но царь Аммона слишком любил слова: Гатаэль больше думал о том, что запишут о его делах летописцы, чем о том, как довести задуманное до конца. Поэтому его вечно

одолевали сомнения даже в вопросах незначительных и простых. Приходилось ли ему выбирать себе лошадь, распорядиться о строительстве башни на углу городской стены или отдавать предпочтение какому-то образу действия, — царь всю ночь не находил себе места, потому что в каждом решении он видел всегда две стороны.

Если, походя, Ифтах намекал, какой поступок хорош, а какой несет в себе вред, сердце Гатаэля затопляла благодарность и теплота. Он хотел бы высказать Ифтаху хоть немного из многого, но слова не давались ему, как бывает с теми, кто слишком заботится о словах. Он говорил:

— Поскачем вместе в Арозэр или Рабат-Аммон. Посмотрим, созрел ли инжир.

А потом:

— Нет, лучше не ехать — расположение звезд не предвещает сегодня добра.

И еще:

— Всю ночь у меня болели ухо и колено. Сейчас — зуб и живот. Расскажи мне еще о том мальчике, который знает собачий язык. Не уходи.

Все сходились на том, что царь Гатаэль влюблен. Это смущало и его самого, но он не мог не топтать ногой от досады и нетерпения, если Ифтах не приходил в какое-то утро. Во дворце повеяло подспудным злым холодком. Между собой говорили:

— Царская блажь не сулит нам добра.

Город Авель-Крамим был большим и шумным. Вина вспенивались и лились в фиалы; женщины были благоуханны, их бедра округлы и тяжелы; рабы были услужливы и расторопны; наложницы доступны; кони резвы. Кмош и Мильком рассыпали щедроты над городом. Каждый вечер трубы давали сигнал к веселью. Всю ночь не смолкала музыка, продолжались игрища и пиры. Факелы на площади горели до самого утра, когда из городских ворот начинали выходить караваны.

Ифтах не избегал соблазнов Авель-Крамима. Он перевидал и перепробовал все, но всего словно касался кончиками пальцев, потому что мыслями был далеко и в душе говорил: в иные игры будут играть предо мной аммонитяне. Три, а то и четыре женщины усаждали его по ночам. Ифтах любил буйные ласки. Любил овладевать ими одна за другой, любил с тонкой плеткой, разжигая

ющей страсть, наблюдать, как они доводят до иступления друг друга. Иногда, когда шквал убывал, женщины пели ему аммонитянские песни о тихих заводях и бурных разливах, об оленях в оливковых рощах, о муках и милосердии. Память разъедала сердце, хотелось детства, и случайные женщины были ему в тот момент материнским лоном, морем. С первым светом Ифтах говорил: "Хватит. Идите", а сам подходил к окну посмотреть, как бледнеют горы, как загорается горизонт и как в конце концов появляется солнце.

6

Наступило лето, миновало лето. Осенние ветры принялись ощипывать кроны деревьев. Старые кони вставали на дыбы и пронзительно ржали. Ифтах сидел у окна в городе Авель-Крамим и вспоминал дом из черного камня на краю пустыни. Ему хотелось оказаться сейчас в конюшне вместе с братьями Ямином, Емузлем и Азуром, вместе с козлом, который читал бы им Священные Книги; чтобы в каналах журчала вода, сады окутала влажная дымка, а из виноградника по-осеннему пахли опавшие листья. Стрела рассекала ткани тела и проникала все глубже.

Он встал — лицом к Авель-Крамиму, спиной к комнате, где на шелковом ложе спала одна из женщин, пришедших к нему в эту ночь. Длинные волосы спадали ей на лицо, дыхание было спокойным и ровным. Ифтах обернулся и поглядел на нее с удивленьем, потому что не мог вспомнить, кто эта женщина, был ли он с ней или ему еще предстоит, и, если предстоит, то зачем и откуда возьмется желание.

Ифтах присел на кровати и запел спящей женщине песни матери, аммонитянки Питды. Голос Ифтаха был груб, и плавные напевы звучали тревожно и заунывно. Он погладил девушку по щеке, но и тогда она не проснулась. Ифтах вернулся к окну. Серые облака, толкаясь и суетясь, уносились на восток, будто бы там, за горизонтом, решается в эти минуты чья-то судьба, и нужно вставать и идти, чтобы не опоздать. Но Ифтах не знал, куда и когда надо идти и кто зовет его на восток. Он понимал лишь одно: только не здесь.

Брат мой Азур не Эвель, — думал Ифтах, — и я не Каин. Бог ехидн, живущий в пустыне, не прячь Свой лик от меня. Позови меня, позови; призови к Себе и меня. Если я не достоин стать

избранным сыном, сделай меня Своим наемным убийцей. В полночь я буду являться с занесенным мечом и поражать неугодных Тебе, а Ты, если угодно, отворотись, сделай вид, что Ты скрыт и далек от меня, как свет ненаступившего дня, что нет между нами и тени союза. Ты Бог ястребов и лисиц, и я люблю Тебя за Твой гнев. Я не прошу Твоих милостей и щедрот, подари мне от ярости Твоей, от одиночества и от страданий. Не озлобление ли и не печаль были знамением мне, что я создан по образу Твоему, что я весь для Тебя и что Ты призовешь меня в одну из ночей, потому что я сотворен по образу ненависти Твоей, Бог волков, снующих ночами в пустыне? Ты утомлен и измучен, Ты сжигаешь тех, кого приближаешь к Себе, потому что сказано о Тебе: Ты Бог-ревнитель. А я говорю: окаянна любовь Твоя, как окаянна любовь, которая приковала меня к Тебе. Мне известны тайны Твои, ибо мы заодно. Ты призрел Эвеля и принял его дары, но сердцу Твоему был близок Каин, и Каина Ты возлюбил. Над ним, а не над праведным братом его, Ты простер Свою гневную милость. Каина, а не Эвеля, послал Ты скитаться по этой злосчастной земле. На него возложил Ты печать, чтобы ходил он по миру, утверждая Твой образ перед людьми и вершинами гор. Ты Бог Каина, Бог Ифтахы сына Питды. Каин — свидетель, и я покажу, в чем Твой подлинный образ, Бог лесных гроз; Бог огня, который съедает зерно на току; Бог лая собак, беснующихся по ночам. Я знаю Тебя, ибо Ты во мне. Мать моя была аммонитянкой, и я любил свою мать. Из глубин тянулась она к отцу, а он из глубин надрывался, взывая к Тебе. Бог, дай мне знак.

Город Авель-Крамим лежал на перепутье караванных путей. С наступлением сумерек в городские ворота вступали караваны, держащие путь из далеких земель. Они доставляли в Авель-Крамим дары земли Египетской, благовония, ароматические масла и медь из Месопотамии, стекло из Сидона и Тира, дичь с юга из страны Эдом, из Егуды виноград и оливки, вина из Арам-Нагараима, шелк из Арам-Цовы, голубоглазых мальчиков с голубых островов в океане, блудниц-хеттянок, браслеты и мирру. До темноты не прекращался поток, а ночью запирались тяжелые ворота, и город наполнялся факельным светом и исступлением. Отблески пламени разбивались о золотые купола и разлетались по сторонам кровавыми брызгами. Из храмов вырывалась на улицы музыка, берущая за душу.

Казалось, что Ифтах входит в самую пучину, но винная пена, водоворот женских ласк и увеселений царского двора доходили ему лишь до плеч. Ночью прекраснейшие из женщин Аммона касались тела Ифтаха, их губы скользили по его груди. Они впили в угрюмые силы Ифтаха и, как птицы, кружащие над головой, щебетали: чужой. Ифтах безмолвствовал, его глаза смотрели вовнутрь, потому что вокруг им не на что было глядеть.

С каждым днем все выше всходила ревность в Авель-Крамим. Князя Аммона ревновали жен, дочерей, ревновали и царя своего Гатаэля. Старейшины говорили на совете: Аммон подчинен Гатаэлю, царь же как женщина в руках пришельца из Гилада. Сей Ифтах не один из нас, он сам по себе.

Злая молва донесла эти слова до царя. Гатаэль и сам стыдился своей рязмягчающей душу любви к Ифтаху. Иногда ночью он представлял: завтра я встану и прикажу убить этого желтого человека. Но приказа не отдавал, потому что, как всегда, видел и пользу и вред. Когда Гатаэль узнал, что старейшины уподобляют его одной из блудниц, расprostертых у ног чужестранца, на глаза его навернулись слезы.

Всю жизнь Гатаэль мечтал стать великим завоевателем, как грозные цари, о которых он читал в летописях. Но воевать Гатаэль не умел: когда он выходил из покоев на солнечный свет, у него сильно кружилась голова, от запаха конского пота сводило зубы. Поэтому в один из дней он призвал к себе Ифтаха и объявил:

— Отбери себе воинов — пеших и конных, я дам тебе, сколько захочешь, колесниц и коней, возьми с собой заклинателей и жрецов и иди на Гилад. Завоюй мне землю, куда увезли твою мать, чтобы сделать наложницей. Если ты не пойдешь, я пойму, что правду сказали старейшины: ты не наш, ты нам чужой. Такова воля царя. А сейчас подай мне скорее воды.

В ту ночь Ифтаху снилась пустыня. Во сне он взбирался по отвесной скале посередине пустыни и в какой-то миг повис между небом и землей, потому что над ним был валун гладкий, как стекло из Сидона. Хотелось зажмуриться, так как вниз смотреть было страшно — под ногами разверзалась пропасть, со дна которой просвечивали белые зубы камней. За плечами, как плотоядный зверь, рычал ветер. Вдруг Ифтах почувствовал легкое прикосновение — женская рука погладила его по спине. Тело обмякло, ослабли пальцы, цепляющиеся за скалу. Захотелось уступить,

распустить хватку и последовать туда, куда зовет его женщина. Из ущелья тянуло сыростью и пробивался ядовито-зеленый свет, но там с ним будет она, будет отдых, прохладный ручей и покой.

Проснувшись, Ифтах понял, что истекли его дни в этой стране и что пришла пора уходить. Город тянулся к небу всеми своими пальмами, всеми башнями, увенчанными золотом куполов. Когда рассветное солнце тронуло купола, город зажегся червонным огнем. Ифтах не ждал, что сердце защежит. Он верил, что сможет встать и уйти, не бросив ни взора назад. Сейчас Ифтах готов был пойти на попятный. Авель-Крамим цеплялся острыми когтями, рвал одежду, не отпускал. Но царь Гатаэль уже слал гонцов торопить Ифтаха: когда ты устроишь войну, Ифтах, когда порадуешь царское сердце? День прошел, а войны еще нет, и нет ничего. Доколе ты будешь медлить, Ифтах? Не медли.

И Ифтах рассудил, что медлить нельзя. Он поднялся и убежал в пустыню. Но на этот раз Ифтах ушел не один — он взял с собой дочь, которую родила ему одна из женщин Авель-Крамим, искавших его любви.

Семь лет исполнилось Питде, когда посадил ее отец перед собой на коня и увез в пустыню из города Авель-Крамим. Аммонитяжкой и дочерью аммонитянки была маленькая Питда. Детство ее прошло среди наложниц, евнухов и атласных шелков, потому что десять лет провел Ифтах в Авель-Крамим.

Когда они выезжали из города через Навозные ворота*, смеялась Питда. Она любила ездить на лошади и думала, что ее покатают по солнечным безлюдным равнинам, а вечером привезут домой к маме и кошке. Но когда подкралась к ней ночь, первая ночь в пустыне, испугалась Питда. Она расплакалась, раскричалась, стала просить и ругать Ифтаха. Маленькие крепкие ножки Питды били по крупу коня, губы сердито и жалко кривились.

Питда не унималась до тех пор, пока ее не убаюкали ночные голоса пустыни. Утром Ифтах подарил ей дудочку, которую сделал из тростникового стебля. Девочка умела насвистывать мелодии Авель-Крамима, песни, которые пели по ночам на площадях жрицы любви. Знала она и песни матери Ифтаха Питды. Она играла на дудочке, а Ифтаху слышалось журчанье воды в каналах, орошавших сады в наделе Гилада. Сердце Ифтаха сжималось, когда Питда просила его: папочка, папа. Он сдерживал поступь коня

* Ворота, через которые из города вывозят мусор.;

и весь день, всю дорогу рассказывал ей все, что знал: о волке и безоружном подростке, о брате Азуре, который понимает собак. Чтобы отвлечь Питду от тягот пути, чтобы помочь ей забыть о жаре, Ифтах сказал в этот день столько слов, сколько не приходилось ни на один другой день его жизни — ни после, ни до.

Спустя некоторое время Питда перестала звать маму и проситься домой. Ифтах рассказал ей, что они едут к морю. На вопрос о том, что такое море, ответил:

— Это страна высоких круч, только кручи не из песка, а из воды.

Когда Питда спросила его: а что там в море, ответил: наверно, покой. Тогда она захотела узнать, почему земля не глотает море, как любую другую воду, которая исчезает с нее в один миг. Ифтах ответить не смог и только сказал:

— Уже припекает. Прикрой голову, Питда.

Она спросила:

— Когда мы доедем до этого моря?

— Не знаю, — ответил Ифтах. — Я там не был. Смотри, Питда, вон ящерица. А вот ее уже нет.

Иногда она поднимала глаза, пристально глядела в лицо Ифथा, и зрачки ее светились усталым светом. Может, нездоровилось Питде, может, просто не могла прийти в себя от песков и от солнца. Ночью Ифтах брал ее к себе под бурнус, чтобы укрыть от порывов холодного ветра.

К тому времени, когда месяц стал убывать, Ифтах привез дочь в пещеру среди горных хребтов в земле, носящей название Тов. Перед пещерой в самые знойные дни не пересыхал источник, а вокруг стояли дубы, дающие мягкую разлапистую тень. От источника отходил каменный желоб, и кочевники приводили сюда на водопой свой едва плетущийся скот. Придя, разбивали на склоне палатки из черных козьих шкур. Здесь Питда научилась собирать хворост и разводить костер перед входом в пещеру. К вечеру Ифтах возвращался с охоты и коптил над огнем ногу антилопысайги или жарил в костре мясо черепахи.

Ночью щербатый месяц катился по остриям горных вершин, снижался и пробовал почву, будто бы выбирая место, с которого залить землю безмятежным матовым серебром. В лунном свете зубчатые гребни были похожи на челюсти зверя, которого мучат голод и жажда.

Каждое утро Питда ходила по воду к источнику, черпала ее из желоба и возвращалась будить Ифтаху. Она набирала полные пригоршни и брызгала на отца. Когда он вставал, Питда брала дудочку, а Ифтах присаживался и, затаив дыхание, слушал-пил ее игру как вино.

Кочевники пустыни, населявшие землю Тов, слыли людьми угрюмыми и крутыми. Ифтаху они были сродни. Их костлявые женщины привечали Питду и были рады скрасить ей день, потому что в этих краях не рождались дети. Кочевники жили в седлах, а временами земля Тов наводнялась полками Аммона или ратниками Израиля, пришедшими сюда убивать. Обитали же здесь люди, забытые Богом: убийцы и жертвы, бегущие от убийц; злыдни, чью ненависть не вмещала обжитая земля, и изгои, по следам которых пущены своры собак; и прорицатели, и какие-то чудные, питавшиеся одними кореньями, чтобы не умножать боль в мире.

Над землей Тов простиралось небо — расплавленный металл. Сама же земля была словно медь, опаленная и растрескавшаяся. Но и в ночах была здесь своя сила, как в темной пенящейся браге. Тихая милосердная прохлада опускалась на отверженных людей, их измученный скот и на саму пустыню, сознающую свою безысходность.

В один из дней Ифтах с дочерью привели к старейшине кочевников. Старец был сморщен и костист, лицо его обтянуто пергаментом, и только линия скул сохраняла память о былой силе или коварстве.

В устье пересохшей реки стоял Ифтах перед старцем. Он молчал, ожидая, что скажет ему старейший из кочевников. Старик же, казалось, дремал на сером горбу верблюда — он тоже выжидал, желая услышать вначале слово пришельца. Так и застыли они друг против друга, упорно и терпеливо меряясь силой молчания. Со склонов гор за ними наблюдали костлявые женщины кочевников.

Старик распластался в седле, как ящерица перед солнцем. Ифтах, будто окаменев, врос в землю перед верблюдом. У ног его копошилась Питда. Она рылась в песке, пытаясь найти, откуда выходят на свет муравьи. Тишина была неподвижной. Только тени — человек верхом на верблюде и другой — пеший, стоящий вблизи — медленно крались друг за другом, потому что солнце совершало свой неизменный путь на белом высоком небе. Мол-

чание переполнило чашу, и нарушил его прокленный пустыней голос старейшины:

— Кто ты, пришелец?

— Сын Гилада Гилади, мой господин, — ответил Ифтах, — рожденный ему наложницей-аммонитянкой.

— Что мне имя твое и имя отца. Я спрашиваю: кто ты, пришелец.

— Я пришелец, как ты сам изволил сказать, мой господин.

— Зачем же ты явился сюда? Кто послал тебя — Аммон или Израиль, чтобы ты ходил среди нас, а потом отдал в руки ищущих нашей крови?

— Нет мне доли в Израиле и нет мне удела в Аммоне.

— Так выходит, ты изуверился в жизни, пришелец. Глаза твои обращены внутрь как у людей, потерявших надежду. Кому ты служишь?

— Не Милькому.

— Кому ты служишь?

— Элоиму, Богу волков, которые рыщут ночами в пустыне.

По образу ненависти Его я создан.

— А девочка?

— Это Питда, моя дочь. Она с каждым днем становится все больше и больше похожа на пустыню.

— Я вижу, ты человек отчаянный и способный к войне. Ты будешь вместе с нами грабить и убивать, как все наши мужчины. Готовься, выходим, как только стемнеет.

— Я пришелец, мой господин, среди чужих прошли все мои годы.

7

Ифтах прижился среди кочевников.

Вместе с ними он давал отпор нападавшим, вместе с ними ходил несколько раз за добычей и жизнями в обжитые земли, потому что кочевники ненавидели живущих оседло. Ночью они проникали сквозь изгороди и забивались внутрь — неслышно и мягко, как злые духи. Встретив смерть, умирали беззвучно; убив, беззвучно растворялись во мгле. Приходили с ножами и дротиками. Несли огонь. Утром только головни шипели и дымились на месте цветущих владений, на краю Аммона или Израиля. Ифтах же все возвышался среди кочевников, потому что был наделен чертами

вождя. Была в нем такая сила, что, не повышая голоса, не напрягая мышц, он мог навязать свою волю, перешибив и подмяв волю других. В те дни, как всегда, говорил он немного, потому что слов не любил и не доверял им.

В одну из ночей нагрянули люди Ифтаху в надел Гилада Гилады на краю земли Гилад на границе с пустыней.

Долго скользили тени по темным тропинкам среди фруктовых садов и зарослей винограда, стекаясь к дому, сложенному из обожженного вулканического камня. Но Ифтах не позволил сжечь дом со всеми его обитателями, потому что сквозь ненависть пробилась вдруг тихая грусть, и он вспомнил слова, услышанные от отца в те далекие ночи, в те далекие дни: "Ты нечист, и порода твоя нечиста. Ты сам по себе, и я сам по себе. Каждый сам по себе. Вон ящерица, а вот ее уже нет". Ифтах стал на четвереньки и напился воды из канала. Поднявшись, он свистнул полночной птицей, и люди, пришедшие с ним, собрались в условленном месте и один за другим скрылись в пустыню. Горизонт за их спинами не полыхал.

Полюбилась кочевникам и Питда. Была она хороша неяркой пепельной красотой, двигалась легко, почти невесомо, как во сне, словно вся она из хрупких материй, а земля под ногами и предметы вокруг только и ждут одного ее неуклюжего жеста, чтобы тут же разлететься на мелкие части. Женщины, тянувшие лямку от зари до зари, отдавали Питде весь запас нерастроченных материнских ласк, потому что в земле Тов не рождались дети. Питда не расставалась с дудочкой, которую вырезал ей Ифтах. Если вокруг никого не было, она играла каменистым склонам и застывшим на них валунам. Когда Ифтах слышал издали дудочку Питды, ему казалось, что он различает в ее переливах шелест ветра и журчанье воды в тенистых садах на землях Гилада. Питда видела сны, бывало, грезилась она наяву, и сердце Ифтаху рвалось помочь, защитить, когда она пересказывала ему свои сны или вдруг без причины говорила: папа, мой папа.

Ифтах любил дочь безудержно, неукротимо. Глядя ее по волосам или обнимая за плечи, он старался не сделать неловкого жеста, потому что помнил себя самого зажатого между ладоней Гилада. Он говорил:

— Я ведь не делаю тебе больно, Питда. Дай мне руку.

А девочка отвечала:

— Но ты так смотришь на меня, что я не могу не смеяться.

Ифтах любил дочь безудержно, неукротимо. При мысли о том, что чужой мужчина придет когда-нибудь за Питдой, кровь закипала в жилах Ифтаха. Низкорослый, а то и мясистый, он обласкает ее волосатыми руками, обдаст запахом пота и лука, будет слюнявить и кусать ее губы, запустит змеиные пальцы в святая святых ее девичьих тайн. Ифтах весь набычивался. Глядя на него, Питда заливалась безудержным смехом, а он прикладывал к пылающему лбу прохладный клинок кинжала и бормотал: "Играй, Питда, играй". Потом, как человек, теряющий зрение, он вслушивался в ее игру до тех пор, пока гнев утихал, и только в горле, как привкус пепла, оставалась сухая бесплодная горечь. Иногда от избытка любви Ифтах мычал, раздувая щеки, как мычал в свое время Гилад; иногда жалел, что не умеет варить по ночам чудотворные зелья и не знает слов, которые нужно сказать, чтобы оградить дочь от всякого зла.

Так росла Питда под настороженным взглядом Ифтаха, под взорами кочевников, населявших пустыню. Когда хворост был собран и скот напоен, она спускалась к руслу реки и из гальки строила башни, крепостные стены, ворота и замки. Потом, в сердцах, вдруг все разрушала, а, разрушив, смеялась. Когда на колючих кустах появлялись цветы, плела венки. Что бы ни делала Питда, казалось, что она смотрит нескончаемый сон — губы слегка округлены, рот приоткрыт. Иногда она находила белую отполированную кость, брала ее смуглыми загорелыми руками, подносила к лицу, пела ей, обвевала дыханьем, прикладывала к волосам. Питда умела мастерить фигурки из веточек: конь на скаку, лежащая овца, черный сгорбленный старик, опирающийся на посох. Много из того, над чем не принято смеяться, вызывало смех у дочери Ифтаха. Если одна из женщин навьючивала на верблюда свои пожитки, а он пугался, шарахался, и тюки валялись на землю, Питда смеялась до слез. Увидев мужчину, который, наклонив голову, неподвижно стоит к ней спиной, будто погруженный в раздумье, и мочится между камней, Питда заходила смехом и не могла остановиться, даже если он злился и выговаривал ей.

Если кто-либо из кочевников исподтишка поглядывал на нее — глаза слегка выпучены, рот полуоткрыт, кончик языка зажат между зубов — Питду смешил его вид, и она хохотала. Если Ифтах перехватывал взгляд и глаза его начинали высекать холодную

ярость, Питда переводила взор с одного на другого, словно протягивая невидимую нить, и смеялась все пуще. Она не унималась даже тогда, когда Ифтах кричал ей: "Хватит. Довольно". А иногда кончалось тем, что она заражала отца и он тоже не мог сдержать нахлынувший смех. Те, кто помоложе, считали: если Питда смеется, значит в душе ее радость. Но жены кочевников видели: это не радость, а что-то иное, что не сулит ей добра. Они научили ее пряхсть, готовить пищу, доить коз и умирять ошалевшего козла. Все у Питды получалось легко, как бы само собой, а мысли, казалось, были рассеяны.

Однажды она сказала отцу:

— Ночью ты воюешь и побеждаешь врагов, а днем ты спишь, и даже мухи, сидящие у тебя на лице, сильнее тебя, если ты спишь.

— Ведь все люди время от времени спят, — ответил Ифтах.

— А вот змея не спит никогда. Она и глаз не может закрыть, потому что у нее нет век.

— В книгах написано, что змеи самые хитрые из зверей.

— Грустно, наверное, быть самой хитрой. А еще грустнее не спать, не закрывать глаз и никогда не видеть снов. Если бы змея и вправду была такой хитрой, она исхитрилась бы и придумала, как закрывать глаза.

— А ты?

— Я люблю смотреть, как ты спишь на земле после ночных ратных дел и мухи расхаживают у тебя по лицу. Я люблю тебя. И себя. И места, куда ты не везешь меня и где заходит солнце по вечерам. Ты, наверное, забыл про море, отец, а я его помню. А теперь набрось на голову свой бурнус и помычи, чтобы мне стало смешно.

Во сне к Ифтаху приходили князья и вельможи просить руки Питды. Все они были остролицы и уродливы, и, как собак, их приходилось гнать палкой или камнями, потому что никому из них не видать Питды. Грузный и неуклюжий, вваливался в сны Ифтаха отец его Гилад. Питда ускользала от его широких уродливых ладоней и пряталась за желоб, Гилад гнался за ней, и Ифтах, не просыпаясь, кричал. Набегали и молодые — Азур, Ямин, Гатаэль, Емуэль. Они кружили возле Питды, протягивали к ней рои пухлых и белых пальцев, пытались сорвать одежды. Она смеялась вместе с ними, а Ифтах видел все и кричал, потому что у них не было век. Они, не мигая, тарачились на Питду, сужая свой круг,

и Ифтах просыпался от собственного хрипа, сжимая кинжал в дрожащей руке.

“Ну, коснись же меня, Элоим. Доколе нам ждать, когда Ты выберешь час простереть надо мной Свою огненную десницу? Вот я перед Тобой на вершине горы, и в руке моей агнец для всежжения, вот огонь и дрова, где же нож? Ночью и днем я повсюду ищу Твою тень. Если Ты над горой, пусть буду я прахом горящих вершин. Если Ты явишься в излучине месяца или в его отражении, упавшем под воду, я буду и там — в белых песках, в воде, омывающей дно. Если, исходя лаем, рвутся с цепи собаки, не знак ли это того, что в гневе Ты даришь любовь? Прелей на меня Свою ярость, порази меня ею. Ты Бог-бобыль, и я одинок; не предпочти другого рабу Своему. Я Твой сын, и Тебе не обмануть меня миражами Своих кошмаров. Ведь Ты подобен рыси, которая еженощно мечется в мертвых ущельях, подстерегая добычу”.

С годами стал Ифтах вождем у кочевников. Говорил он мало, и голос его был тих. Чтобы расслышать ответ Ифтаха, приходилось наклоняться и вслушиваться изо всех сил.

В те дни вступил царь Аммона на землю Израила. Он захватил города, заполнил земли, людей же, населявших их, обратил в рабов. Бежавший бежал, а тот, кто остался, склонил голову перед царем Аммона. Гатаэль же не выходил из дворца, только слал депеши за депешами своим полководцам и слагал повесть о войнах царя Гатаэля.

В один из дней пришли в пустыню, в землю Тов, во владенья Ифтаха три брата — Ямин, Емуэль и Азур. Они бежали сюда от аммонитян потому, что имя Ифтаха уже было известно в Израиле. Он и его люди не давали покоя аммонитянам: подстерегали отставших, нападали с тыла, грабили караваны, сновали перед носом аммонитянских дозоров, как птицы, дразнящие медведя.

Ифтах не отвернулся от братьев, но и не раскрыл объятий. С годами будто дозрели старшие двое. Ямин стал еще кряжистей и тяжелее, но походил не на отца и не на мать, а на козла в доме Гилада. Емуэль по-прежнему не мог согнать с губ слащавой и верткой усмешки, которая вместе со скверным подмигиванием, казалось, звала: пойдём ко мне, дружок, поваляемся в блюде. Только младший из братьев Азур набрал торопливость свистящего лета стрелы, поспевающей к цели, и похож был больше

на сводного брата — сына аммонитянки, чем на сыновей Нехушты, дочери Звулуна.

Когда они преклонили колени и распростерлись у ног вождя кочевников, Ифтах сказал:

— Встаньте, бежавшие от Аммона. Не падайте ниц передо мной. Я не Йосеф, и вы не сыны Якова. Поднимитесь.

Первым, будто читая по писанному, заговорил старший Ямин:

— Господин, мы пришли к тебе, чтобы сказать: аммонитянская нечисть заполнила надел отца твоего. Наш отец стар и не в силах бороться. И вот мы, рабы твои, взываем к тебе: встань, Ифтах, и избавь от нее отчий дом и отчую землю, ибо ты один можешь одолеть аммонитянского змея, а другие не могут.

Братья увещали Ифтаха, но он оставался безмолвен и только в конце отдал приказ расположить их в стане. Изо дня в день они теребили: доколе же будет медлить наш господин. Ифтах не давал ответа, но и не одергивал братьев. Про себя говорил: Элоим, дай мне знак.

Люди Ифтаха наводили страх на полки Аммона. По ночам Авель-Крамим мучили кошмары: виделась ему люди Ифтаха, идущие по пятам за караваном. Были они легконоги и хитры, потому что хитер был их господин и поступь его в ночи была легка, как пар или как ласка. К князьям Аммона посылал убийц Ифтах, нож бесшумно взлетал и бесшумно разил свою жертву. Дрожь пробирала солдат Гатаэля от шороха ветра, воя волков или всполохов птиц — уж не кочевники ли подражают во тьме птице ночной, ветру ли, волку? За стены Рабат-Аммона проникали люди Ифтаха, на площади Авель-Крамим и в его храмы; днем входили они с караванами в обличии простодушных торговцев, ночью сеяли страх, а утром уносило их ветром. И напрасно снаряжал им вдогонку полки Гатаэль — настигнешь ли ветер? В книге войн писал Гатаэль, царь Аммона:

“Не удел ли то малодушных — ужалить и отскочить? Пусть они явятся днем, пусть сойдутся со мной. Я разобью их и буду крушить до тех пор, пока не устану... а потом отдохну”.

Но люди Ифтаха не хотели являться засветло. Ежедневно восходил их господин на холм и стоял там один, отвернувшись к пустыне, словно ждал какого-то запаха или звука.

Тогда послал царь Аммона гонцов к Ифтаху, чтобы сказать: — Ведь ты аммонитянин, Ифтах. Мы братья, к чему нам сра-

жаться? Пожаейай, и я дам тебе вторую из своих колесниц. Приходи, и ни один человек ни в Аммоне, ни в Израиле пальцем не шевельнет без твоей на то воли.

Ответ царю Гатаэлю передал Ифтах через своего оруженосца Азура:

— Не брат я тебе, Гатаэль, не от одного отца ведем мы свой род. Известно тебе: я чужой. Не на израильской стороне веду я войну, а на стороне Того, кого вам знать не дано. Во имя Его я и тебя повергну мечом и врагов твоих не пощажу. Ведь чужим я прожил все годы.

8

Ночью в палатке в земле Тов Питде приснился сон. Во сне она видела себя невестой в брачном наряде. Девушки играли на арфах и танцевали. На запястьях ее были браслеты.

Когда Питда рассказала свой сон отцу, Ифтах пришел в неистовство. Он тряс ее за плечи и сдавленным шепотом умолял: скажи, кто был жених. Он все допытывался, и руки его тяжело давили ей на плечи, когда Питда вдруг рассмеялась, как смеялась всегда — ни с того ни с сего, без всякой причины. Взлютовав, Ифтах ударил ее по лицу тыльной стороной ладони и закричал:

— Кто был жених?

— У тебя в глазах ведь убийство, отец?

— Кто он, скажи мне, кто он?

— Я не видела лица, только его дыхание обжигало мне кожу. У тебя на губах пена, отец. Уйди от меня. Окунь голову в воду.

— Кто он?

— И не бей меня больше, отец, а то я засмеюсь во весь голос так, что услышат вокруг.

— Кто он?

— Да ведь ты знаешь, кто мой жених. Зачем же ты кричишь на меня и почему ты дрожишь?

Питда смеялась. Ифтах не мог прийти в себя. Зажмурившись, он беззвучно шевелил губами: да ведь я знаю; почему меня бросило в дрожь? Так и стояли они друг против друга, когда в землю Тов пришли старейшины Израиля, чтобы распротереться у ног Ифтаха.

Он открыл глаза и, оглядев пришедших, увидел среди них и Гилада. Тяжелый и широкоплечий, отец был устрашающ как прежде, только борода его поседела. Подбрав полы одежд, чтобы не

трепать их в пыли, старейшины пали ниц перед вождем кочевников. Только Гилад остался стоять и не склонил головы перед сыном.

Радость закипела в Ифтах, и ликование разбушевалось по жилам. Такой неистовой радости он не знал никогда – ни после, ни до. С трудом совладал с нею Ифтах и сказал:

– Встаньте, старейшины. Перед сыном блудницы вы преклонили колени.

Но они не захотели встать, не распрямили согнутых спин и только поглядывали друг на друга, не зная, как начинать. На исходе молчания сказал Гилад Гилади:

– Ты мой сын, который избавит Израиль от аммонитян.

Издаലെка смотрел Ифтах на их попрунную гордыню, как смотрят на рану. Потом в глазах его отразилась боль, но не боль преклоненных старейшин, а может и вовсе не боль, а будто бы мягкость, мягкость пепла недавних пожаров.

– Чужой я вам, старейшины Израиля. Негоже, чтобы вел вас на войны чужой, ибо нечистым станет все войско.

Услышав эти слова, встали старейшины и заговорили наперебой:

– Брат ты нам, Ифтах. Ты наш брат. Сегодня поставили мы отца твоего Гилада судьей над Израилем, ты же будешь начальником отцовского войска и сразишься за нас с Аммоном. Ты пойдешь впереди наших армий и будешь князем в Израиле. Ты – из всех своих братьев, ибо с детства ты умел воевать. До сих пор говорят пастухи у костра о подростке, разорвавшем руками волка, говорят и будут говорить.

– Ведь вы ненавидите меня, старейшины. Когда я сокрушу для вас аммонитян, вы будете травить меня, как травят взбунтовавшегося раба. И тот же отец закует меня в цепи, потому что он судья, а я чужой человек, кочевник и сын блудницы.

– Ты мой сын, Ифтах. Ты мой отпрыск, который проводил рукой по огню и не кричал, который голыми руками одолел волка. Если ты пойдешь сражаться за нас с Аммоном, я благословлю тебя, предпочтя всем твоим братьям, и сердце мое будет открыто перед тобой во все мои дни.

– Почему вы не отступите от меня, старейшины? И ты, судья Израиля, перестань взывать ко мне. Зачем вы, как дети, играете передо мной? Соберитесь с силами, сами смойте позор с ваших

седин — вы, и ваши козны, и ваши писцы. А меня оставьте. Не будет Ифтах гарцевать перед израильскими рядами, неся на себе к победе и власти этого старца.

Тогда заговорил Гилад Гилади, и губы его напрягались, будто руками он рвал железную цепь.

— Не будет отец твой судьей в Израиле. Ты войой, ты и суди. От этих слов онемели старейшины.

Голос Ифтахы был вкрадчив и тих, в зрачках полыхнули желтые искры.

— Если и вправду вы выбираете меня в судьи, вы ведь можете поклясться в этом именем Бога?

— Господь услышит и будет свидетелем: ты избран судьей.

— Сын блудницы станет над вами вождем, — сказал Ифтах и захохотал так, что в стойлах вздрогнули кони.

И старейшины отозвались:

— Станет вождем.

— А теперь закуйте в цепи этого старца. Так велит судья Израиля!

— Сын мой!

— И бросьте его в темницу. Такова моя воля.

На следующий день Ифтах осмотрел свое войско и назначил начальников тысяч и сотен. Старшим братьям Ямину и Емуэлю он велел объехать колена Израиля и передать: все, кто годен к войне, должны без промедления собраться к нему. Младшего — оруженосца Азура Гилади, Ифтах послал к царю Аммона, чтобы сказать:

— Уходи.

Еще приказал судья Израиля разбить посреди стана большой шатер, как для именитых гостей, освободить Гилада из темницы, поместить в этом шатре и дать ему вина и наложниц. Дочери своей сказал Ифтах:

— Если бросит старик кувшин с вином оземь, вели слугам поскорей дать ему новый. Если разобьет и этот, пусть принесут еще и еще, потому что ему бывает приятен возмущенный звон стеклянных сосудов, которые разлетаются вдребезги. Пусть бьет. Только ты не смей заходить в шатер. Хватит смеяться, Питда.

Не знал покоя Гатаэль, царь Аммона: люди Ифтахы кромсали день за днем его войско, будто земля поглощала оставших, ушед-

ших вперед и прикрывающих фланги. Пробовал посылать за ними вдогонку, но настигнешь ли ветер? В пределах Моава потешались над Гатаэлем, в Эдоме имя его стало насмешкой: медведь, который места себе не находит из-за назойливой мухи.

С Азуром передал Гатаэль:

— Оставь меня в покое, Ифтах. Зачем ты мне делаешь зло? Ведь ты аммонитянин, Ифтах, и я тебя очень любил.

Но Ифтах хорошо знал царя Гатаэля, который в мечтах видел себя одним из грозных царей древних легенд, но не мог сдержать головокружения, когда издалека доносился до него запах конского пота. Не спеша, вел судья Израиля тяжбу с Аммоном о том, чья по правде эта земля, чьи праотцы первыми вступили в нее, что об этом записано в книгах, чье право и чей суд. Гонцы спешили в оба конца, пока не прельстился царь Гатаэль утешительной мыслью, что перед ним война слов, и не стал еще с большим усердием громоздить заслоны депеш.

Старейшины Израиля приходили в шатер Ифтаха и именем Бога просили: иди. “Время течет, — говорили они, — аммонитянин гложет страну и, если ты медлишь, то кто нас спасет?” Ифтах слушал их молча.

И еще говорили: “Обратись к эдомитянам и к аравитянам, в Египет и Дамаск. Самим нам не одолеть Аммон, потому что он могуществен и укреплен”. И на это ничего не отвечал им Ифтах, только в душе повторял:

— Элоим, дай мне еще один знак, и в поле будет ждать тебя падаля, до которой Ты так охоч, Бог волков, которые рыщут ночами в пустыне.

Однажды ночью Питда увидела сон: в темноте пришел к ней жених и тихо сказал: “Приди, возлюбленная, ибо настал час”. На утро Ифтах выслушал дочь, не проронив ни звука, и лицо его помрачнело. На всем пути подстерегали его сны. И, как отец его Гилад, Ифтах верил, что сны присылаются нам из тех мест, откуда пришел человек и куда он вернется по смерти. В сердце забилося: сегодня, сейчас. Посмотрев на отца, Питда расхохоталась.

Через час затрубил шофар*. Все полки собрались на склоне, и солнце играло в стали мечей и щитов. Страх охватил старейшин: одним мановеньем бросит сейчас этот дикий кочевник весь Из-

* Рог, которым трубили сбор и объявляли о наступлении праздников.

раиль на стены Аммона, а Аммон укреплен и могуч. Разобьется Израиль о камни и не встанет после паденья. Попытались старейшины найти слова, которые смогут остановить Ифтаху, но судья не дослушал молений. Он вышел к армии, и рядом с ним у входа в шатер стояла Питда. Ифтах положил руку ей на плечо и, когда заговорил, в голосе его звучал голос матери, аммонитянки Питды:

— Элоим, если Ты предашь аммонитян в мои руки, то, кто бы ни вышел навстречу мне из ворот моего дома, когда я благополучно вернусь из Аммона, тот будет Господу, и вознесу его на сожжение.

— Он предаст их в твои руки, а вы, девушки, шейте мне брачный наряд, — сказала Питда.

Народ ответил воинственным кличем, кони заржали. Питда рассмеялась, и смех ее не утихал:

Из земли Тов, где он скрывался многие годы, ринулся Ифтах Гилади на стены Аммона, смял их, смешал их с землей. Он пронесся над деревнями, опрокинул башни, храмы предал огню, расколол золотые купола, а наложниц и блудниц аммонитянских сделал добычей птиц, кружащих над полем.

К полуденной жаре поверг Ифтах Гатаэля и поразил Аммон — от Ароэра до Минита двадцать городов и до Авель-Крамим. К ночи вовсе смирился Аммон, Гатаэль был убит, Ифтах отшумел и умолк.

9

Жизнь человека, как вода, ускользающая сквозь песок. Не станет человека, и будто не приходил он на свет и не убили дни его, как сокращается тень, а угасшую тень не расправишь и не вернешь. Но по ночам приходят к нам сны, и из них мы узнаем, что на самом-то деле ничего не минует, не забывается и все, что было, то сохранилось, то есть.

В снах возвращаются домой мертвые. Дни, которые, казалось, промчались бесследно и давным давно стерлись из сердца, предстают во всей полноте — ни черточки не утеряно, ни крупички. Запах влажной земли далеким осенним утром; дома, которые давно сожжены, а их пепел развеян по ветру; округлые бедра женщин что умерли годы назад; лай на луну прапрадедов наших собак — все возвращается, дышит, живет.

Как во сне, стоял Ифтах Гилады на рубеже надела отца, где он родился, где впервые был призван и откуда бежал, спасаясь от братьев. Как прежде открывались перед Ифтахом высокие изгороди и сады; виноградные лозы все также цеплялись за стены, обвивали их и почти что скрывали вулканический черный камень, из которого сложен был дом; вода журчала в каналах и у подножья деревьев пряталась сероватая сумеречная прохлада — ни черточки не было утеряно, ни крупички.

Как замороженный стоял Ифтах перед домом. Невидящим взором смотрел, как выходит ему навстречу с песней Питда. За ней идут девушки с тимпанами. Пастухи дуют в рожки. А вот и Гилад, угрюмый, широкий в кости. По тропинке спускаются братья Ямин, Емуэль и Азур, а в окне их мать Нехушта дочь Звулуна, женщина белая-белая, в белом наряде, с улыбкой на бледных устах. Собаки лают, скот мычит. Это писец, это козн, это раб с облысевшей макушкой. Все как во сне, ничего не забыто.

Девушки шествовали за ней в белых одеждах. Они били в тимпаны и пели: поверг и сразил. И народ ликовал, и факелов было не шесть.

Она шла навстречу отцу, словно скользя над тропинкой, словно ноги ее не хотели касаться земли, словно лань спускается на рассвете к воде. Было на ней лилейное платье невесты, тень ресниц скрывала глаза. Но, когда она подняла их и когда он услышал ее смех, то в зрачках Питды Ифтах увидел зеленое пламя, будто горел в них лед и огонь. А девушки пели: поверг, поверг и сразил, и бедра Питды не знали покоя, они продолжали свой танец, направляемый изнутри. Шла Питда, как всегда, босиком.

Как в полудреме стоял судья Израила на рубеже надела отца. Лицо его было обветрено и обожжено; глаза обращены внутрь: будто он смертельно устал. Будто смотрит сон.

Толпа, не смолкавшая и донныне, всколыхнулась, встретив раскатом носилки на которых полусидел Гилад Гилады. По сторонам, придерживая их, шли Ямин, Емуэль и Азур. Солдаты грянули дважды: “Слава отцу”. Все Мицпе тонуло в факельном свете и звоне тимпанов, которые от радости рвались из рук.

До чего хороша была Питда своей неяркой пепельной красотой, когда возлагала она венок победителя на голову Ифтаха. Потом она мягко прикрыла руками глаза Ифтаха и мягко сказала:

— Отец.

Как утес, сверкающий солнцем пустыни, принимает прохладную влагу, которая невесть откуда досталась ему, так стоял Ифтах Гилады, когда замерли на его веках пальцы дочери. И не хотелось ему просыпаться.

Был он устал, иссушен, и тело его не отмыто от крови и гари. На мгновение прихлынула к сердцу тоска по городу, который сегодня он сжег. Как тянулся к небу Авель-Крамим всеми башнями в золоте куполов; как касалось этого золота предрассветное солнце; как умолял его слабый подросток — царь Аммона: не уходи, Ифтах; расскажи мне еще, я боюсь темноты; как звенели колокольчики на шеях верблюдов, когда с наступлением сумерек в городские ворота начинали входить караваны; женские губы скользили по телу и шептали: чужой; а огни по ночам, а музыка. песни... и как рассек кроваво-красный меч шею царя Гатаэля и как вышел, дымясь, из затылка, и как успел он сказать: до чего безобразна эта история; и как город горел; и как женщин в пылающих одеяниях сбрасывали с крыш; а запах горелого мяса, а крик... — Ифтах без движения стоял на рубеже надела отца, глаза его были закрыты.

Тут поднял руку Гилад, чтобы утихомирить поющих, играющих и веселящихся — пусть говорит судья. Все застыли, ожидая слова Ифтаха. Только огни дрожали в неслышном веянии ветра. Судья Израиля набрал воздух, чтоб обратиться к народу, и вдруг повалился на землю, воя как волк, пораженный стрелой.

— Госпожа моя мать, — прошептали уста.

И был среди старейшин колена один, который подумал: “Морочит нас этот человек. Он не из нас”.

10

Два месяца попросила Питда, а он, будто забыв про все, сказал:

— Уходи, Питда, далеко-далеко и никогда не возвращайся ко мне.

Но девушка засмеялась:

— Набрось на голову свой бурнус и помычи, — отвечала она, — а мы посмотрим, и будет смешно.

И он, потеряв надежду, сказал:

— Вон на заборе ящерица, Питда. А вот ее уже нет.

Два месяца бродила Питда по горам, и подруги ее шли за ней. Пастухи уступали им путь. Если проходили они деревней, жители

прятались по домам. Тихая белая вереница шла по ущельям, залитым светом луны. Что означает эта смертельная бледность, мертвое серебро на мертвых холмах? Хищные звери не трогали их. Оливковые деревья, искореженные годами, не смели царапать их кожу. Шаги их вплетались в шорохи земли, как шелест листьев, шуршащих от ветра. Как слушать многоголосье, а как — тишину? Муж и жена, отец, мать и сын, отец, мать и дочь, братья, зима и осень, весна и лето, вода и ветер — ведь дали не сблизить, и, если молчать, или кричать, или смеяться, все без разбора и различенья уносится вверх и умножает безмолвие звезд и скорбь этих холмов.

До чего хороша была Питда своей неяркой пепельной красотой, когда в венке, какие носят невесты, шла она и смеялась, а кочевники из угрюмой земли Тов, завидев ее издали, говорили: вот идет чужая и дочь чужого; никто из живых не может приблизиться к ней и остаться в живых. И бросали ей вслед: Шеула*, потому что была она дадена не навсегда, а на время, с возвратом.

Через два месяца вернулась Питда. На одной из вершин устроил жертвенник Ифтах, развел огонь, взял в руки нож. Долго рассказывали странники у костров, что в движеньях обоих была превеликая радость: она — невеста на брачном ложе, он — юноша, простирающий руку, чтобы впервые коснуться любимой. Оба смеялись, как в ночи заливаются смехом хищные звери; оба молчали и только Ифтах напомнил ей: море.

— Меня Ты выбрал, меня освятил из всех моих братьев. И не предпочтешь Ты другого раба Своему. Вот уж нож занесен, и не щажу я для Тебя свою единственную дочь. Теперь дай мне знак. Ведь испытываешь ты раба Своего.

Потом между скал закричали ночные звери, и одиноко застыла пустыня, понунив вершины далеких холмов.

11

Шесть лет был Ифтах Гилади судьей в Израиле. Руки его были по локоть в крови, когда подчас наущал он Гилад против Эфраима**, чтобы опустошить Израиль. Ведь говорил он в юные годы царю Гатаэлю: нет мне доли в Израиле и нет удела в Аммоне; и тебя я повергну мечом и врагов твоих не пощажу. Ведь чужим я прожил все годы.

* Шеула (ивр.) — данная или полученная взаймы.

** Эфраим — Ефрем: одно из колен Израиля.

После шести лет устал Ифтах и возвратился в пустыню. И не приближался к нему ни один человек, потому что какая-то жуть окружала его и не подпускала кочевников. Только сводный брат Ифтаха Азур выходил к нему и оставлял в отдалении воду и хлеб. С Азуром приходили всегда его костлявые собаки.

Год провел Ифтах в пещере в земле Тов. Год постигал голоса, которые доносились из ощетеннейшей на ночь пустыни. Через год научился Ифтах говорить на все эти голоса и тогда решил про себя: довольно.

Писец в доме Гилада записал в свою книгу:

“После него был судьей Израиля Ивцан* из Бейт-Лехема** и было у него тридцать сыновей и тридцать дочерей”.

* Ивцан — Есеван

** Бейт-Лехем — Вифлеем

*Перевел с иерита
Владимир Фланчик*

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО “МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ”
ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ
АДИН ШТЕЙНЗАЛЬЦ. КОНТУРЫ ТАЛМУДА**

“Контурсы Талмуда” — не только первая на русском языке популярная книга, рассказывающая о возникновении, содержании и особенностях Талмуда — этого стенового хребта всей еврейской культуры. Личность автора, крупнейшего израильского религиозного философа-экзистенциалиста, наложила на эту книгу неповторимый отпечаток, превратив ее в рассказ об особенностях еврейского отношения к человеку и к миру, обусловивших исключительность еврейской судьбы.

Цена книги — по заказу — 6 долларов (за рубежом — 12 долларов).
Чеки и заказы принимаются по адресу: “Foundation Moscow—Jerusalem”,
P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

— Скажи, мама, а кто такой Малхамувес?

— Но где ты услышал это слово?

Ее глаза наполнились печалью и страхом, а я испугался и решил, что снова сказал что-то неприличное.

Бедная мама! Она как могла оберегала меня от познания той жестокой правды, что каждый рожденный на земле человек рано или поздно, но все-таки когда-нибудь умирает...

Я был тогда в том возрасте, когда кажется, что жизнь человека никак оборваться не может. И даже когда я видел гроб, то не понимал, отчего это люди, идущие за гробом, плачут. Ведь человек этот должен родиться опять. И мне было интересно, который раз он теперь родится — второй, третий?

И когда он пришел наконец, тот день, когда я вдруг все понял, во мне надолго поселился холод приговоренного к смерти.

Я метался в постели перед тем, как заснуть, кричал, стонал и долго не засыпал...

Я слышал, что это бывает у многих людей. Некоторые до конца своей жизни так и не могут примириться с мыслью, что они родились в первый раз и уже больше никогда не родятся. А другие смирились. Они пытаются за одну жизнь прожить хотя бы две жизни, но, как бы они ни

Израиль Теплик

МАЛХАМУВЕС
(ангел смерти)

торопились и как бы ни убеждали себя, будто живут за двоих, у нашего времени только один шаг...

Малхамувес... Я смотрел, как старьевщик уносит со двора отслужившие свой век вещи, и, когда он среди прочего хлама бросил в свою телегу старые часы, я вспомнил это слово. Цепочка часов была местами скручена алюминиевой проволокой, а на самом ее конце болталась поломанная ручка от мясорубки.

Когда-то, давным-давно, в ту пору моего детства, когда я еще думал над тем, кем я должен буду родиться, когда умру, я знал точно такие же часы. Они ходили глухо и ровно, и мне иногда казалось, что звуки этих часов рождаются где-то внутри меня.

Часы висели по другую сторону той стены, у которой я спал. В тот день, когда они появились, гвоздь пробил мой детский коврик. Моя мама очень была недовольна, она даже хотела пойти к нашим новым соседям и сказать им об этом, но потом передумала. Вместо этого мы сняли коврик, согнули и вмяли гвоздь в стену, а затем повесили коврик на место...

Нашими новыми соседями стали старик и старуха.

Через несколько дней после их приезда во дворе появилась бочка — высокая и пузатая. Каждый день к старикам приносили живых куриц, и я видел, как старик, стоя над бочкой, надрезал мятущимся птицам головы длинным и узким ножом.

Наш двор был перегорожен небольшим забором, через который я бы мог перепрыгнуть, если бы захотел. Но мама не разрешала мне подходить к бочке, когда старик работал, и я наблюдал, как он режет куриц, издалека.

Вскоре вся бочка покрылась снаружи подтеками крови и прилипшим к ней пухом. А когда поднимался сильный ветер, то по нашему двору носились легкие белые пушинки. Это ветер выдувал их из самой бочки.

По праздникам мама готовила много вкусной еды. Каждый раз она отбирала всего понемногу и отправляла меня к старикам.

Я любил приходить к ним по праздникам. В эти дни старик становился шумным и разговорчивым. У него были большие веселые глаза, а волосы, словно белый пух, выбивались из-под маленькой шапочки.

На стене висели часы. Это были простые ходики. В комнате стариков они ходили легко и весело.

У старухи был резкий и хриплый голос. Она редко уходила из дома, а если уходила, то почти никогда не могла найти наш

дом. Это было очень странно. Она подходила к самому дому и вдруг, недалеко от него, останавливалась и начинала кружиться на одном месте. К ней подходили прохожие:

– Что с вами?

– Где я?

Среди прохожих всегда находился кто-то, знающий наш дом.

– Так вот же ваш дом.

– Где?

– Так вот же, вы на него смотрите.

– Вы думаете, это мой дом?

Ее брали за руку и приводили к старику.

– Опять твои фокусы, Рухл, – недовольно говорил старик. – Тот наш дом ты тоже не узнала бы?

– Ой, наш дом! – вскрикивала старуха и сразу же начинала плакать.

Моя мама очень ее жалела, а старик хмурился и садился точить свои ножи.

Вечерами я долго не засыпал и любил лежать в темноте. Где-то внутри меня рождались звуки часов. Если за стеной говорили, то я отчетливо слышал каждое произнесенное там слово. Иногда за стеной ссорились. Это случалось каждый раз, когда на день или два старик уезжал куда-то, а потом возвращался. Он приезжал всегда поздним вечером, почти ночью, когда я лежал уже в постели.

И вот однажды я снова услышал, как, осторожно ступая по половицам, входит в свою комнату старик...

– Вернулся? – хрипло спросила старуха.

– Приехал, – сказал старик.

– Был у нее?

– Ты опять за свое, Рухл?

– Не делай такие глаза, я не боюсь. Был, был, я знаю! Так какой же в этот раз ты ей сделал подарок?

– Перестань, Рухл. Можно ли такое говорить в наши годы...

– А что такое "в наши годы"?

– В наши годы нужно меньше говорить и больше молиться.

– Так отчего же ты так мало молишься и так часто бываешь у нее?

– Не смеши людей, Рухл, а лучше внимательно посмотри на меня и на себя, посмотри, на кого мы стали теперь с тобою похожи. Где мои франтоватые усики, Рухл, где моя легкая походка? А где

твои розовые щечки, те самые щечки, за которые я когда-то так сильно тебя полюбил?

— Значит, у меня нет уже розовых щечек, а у нее они еще есть?

— Ой, замолчи, Рухл, мне стыдно перед соседями!

— А перед теми соседями, где ты был прошлую ночь, тебе не было стыдно?

— Ну, перестань, Рухл, успокойся, я прошу тебя...

— Старый дурак, неужели ты не понимаешь, что если бы я захотела изменять тебе, то всегда могла бы делать это направо и налево...

— И даже теперь?

— Даже теперь.

— Ну-ну.

— Но я же преданная жена, ты взял меня из хорошей семьи, и моя мама меня этому не учила.

— Ну-ну, — снова сказал старик, — я взял тебя из хорошей семьи и привел в плохую... пусть будет так.

— А что такого особенного я видела в твоей семье?! Разве ты не помнишь, какой пьяница и хулиган был твой отец и сколько слез проливала твоя мама из-за всех его штукек...

— Замолчи! Немедленно замолчи! Я очень прошу тебя, Рухл...

— А-а, тебе неприятно!

— Тебе тоже было бы неприятно, если бы ты смогла слушать себя со стороны.

— А что такое я говорю?

— Ничего...

— Ну, так все же: какой ты ей сделал подарок?

— Знаешь что, Рухл, давай уже ляжем спать. Сколько можно говорить...

— А я ведь могу не только говорить...

— Что же ты еще можешь?

— Что я могу?! Я могу даже завтра, если мне этого захочется, составить себе такую партию, что у тебя от зависти повылезают глаза.

— Ха-ха-ха!

— И пусть это не будет маркиз, но, во всяком случае, я буду знать, что он порядочный человек...

— Представь себе, что я даже знаю, как его зовут...

— Ах, вот как, даже знаешь?!

— Ты права, это действительно не маркиз...

— Ну, так как его зовут, как его зовут, как?!

— Пожалуйста, если ты так хочешь... Твоего следующего мужа зовут Малхамувес, Рухл, Малхамувес...

Ровно и глухо стучали за стеною часы. Громко и неистово плакала старуха.

Я лежал с открытыми глазами и думал о том, кто же он такой, этот Малхамувес? И почему имени его так испугалась старуха? И каков он из себя?

Я перебирал в памяти всех стариков, которых встречал в нашем городе. Если Малхамувес — не маркиз, то это конечно же должен быть один из них...

А потом я еще долго думал о том, какой я уже раз родился и кем я рожусь потом, когда умру, и как это все плохо устроено, что люди живут и совсем не помнят, кем они были раньше, еще до того, как родились...

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН. УБИЙСТВО НА БУЛЬВАРЕ БЕН-МАЙМОН

В первую книгу бывшего ленинградского, ныне иерусалимского журналиста вошли повести "Похороны Мойше Дорфера", впервые рассказывающая правду о Биробиджане, и "Письма из розовой лапки, или убийство на бульваре Бен-Маймон", насмешливо и весело изображающая жизнь советских евреев в Израиле

Цена книги (при заказе в издательстве) — 5 долларов, за рубежом 10 долларов. Чеки и заказы принимаются по адресу:

"Foundation Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Памяти Розы Осиповны Кломпус, урожд. Зунделевич.

Интерес к биографии рождается из Майн-Рида.

Ковбойские подвиги будоражили воображение, и спрос на героев никогда не кончался. Путешествия на свалку и карбидные бомбы были праздниками нашего детства. Вокруг сверкали погоны, и лютую зависть вызывал Шурик — его отца привозили на "эмке". Добропорядочный уклад дома нередко приводил в детскую комнату милиции.

С родственниками дела обстояли туго. Достаток в количестве не компенсировал отсутствия офицеров. Моих сотоварищей удивляли отцовская библиотека и остатки приличного гарнитура. Грозный вид маминой мамы вселял уважение.

Подмочив репутацию, Шурик взял у меня урок языка идиш. Спрятавшись за диваном, он дождался внезапного появления бабки. Зрителю было предложено "вос махт а ид", "цу рефуз" и конечно же "зайт гезунт". К моему изумлению, это не привело к дружбе. Генетическое чувство достоинства подтвердило на всю жизнь верность известного постулата: сверчки и шестки занимали свои места. Бабка оказалась неплохим Песталоцци.

Компенсация появилась случайно, в виде принесенной в дом книги. Воспоминания И. М. Майского "Путешествие в прошлое" резко подымали мой статус. Революционеры по тем временам ценились неплохо, и эпизод русской истории вполне спасал положение. Глава "А. И. Зунделевич" начиналась на странице 140.

Отцовская ветвь вырастала из чужих мемуаров. Подробности узнавать было негде. Зунделевич еще не выслужил "Нетерпение", а последнее официальное слово о нем относилось к бухаринской энциклопедии. Отец умер прежде, чем был снят запрет на упоминание, а ошибаться на уроках истории не рекомендовалось.

Вещественные доказательства немнимого прошлого были получены из Израиля. Иерусалим оказался надежным сохранным ме-

стом. В 1966 году мать привезла из гостей фотографию с загадочной надписью: "Сестре Берте. Кара. 1896".

"Народная Воля" выслала меня из Союза. Я прочитал все, что было доступно — статьи, письма, воспоминания. Самым паразитическим оказался листок "Земля и Воля", прообраз "Хроники текущих событий". Никто не отмечал этого сходства. Структура и синтаксис совпадали как близнецы, оставалось заменить даты. Организатор подпольной печати России оказался пророком отечества.

В ночь ожидания смертного приговора он писал письма. Одно — родным, другое, конечно, женщине. Вере Засулич. "Я никогда не любил Россию...", "... даже через тридцать лет после победы социализма еврейский вопрос в России не будет решен...". Спустя два месяца я заполнял отъездные анкеты.

Высочайшею милостью возможную казнь заменили пожизненным заключением. Десять лет в кандалах, остальные — как выйдет. Амнистия 1905 года вывезла его из Читы. Двадцать пять лет отсидки наградили его здоровым оппортунизмом. Он умер в Лондоне в канун дня своего рождения. Ему было 70 лет.

Варшавский поезд прибывал в Вену ранним утром. Две бессонные ночи растворились в книжном шкафу сохнутской литературы. Первый номер журнала "Время и мы" начинался словами "Я никогда не любил Россию..."

Усталая кровь разложилась по ломберной ткани не случайным раскладом. Виленские дамы в обнимку с тузами лежали в общей куче, которая называется "бито". Красные от солнца рубашки скрывали лица. Генеалогический спрут висел вниз головой.

Привязанность к хорошей еде и домашнее воспитание в меру ассимилированного семейства вынесли поколение прадедов за пределы Российской империи. Из девяти двое остались в России, третий погиб в Варшаве. Остальные по мере накопления забирались все дальше.

Один из них оказался дедом. Женившись на собственной племяннице, он перекошил родовые устои. В результате пострадал я, лишившись целого поколения. Прадеды стали дедами, а деды — дядьями. Петербургские дядья играли на скачках и, как водится, верили в справедливость.

Родовое гнездо помещалось на Невском, дом 88, кинотеатр "Новости дня". Братья служили в страховом обществе "Надежда", а дед, стремясь породниться с народом-богоносцем, нашел достой-

ное место — “Биржевые ведомости”. Известно про него мало. Произведя на свет двух сыновей, он предпочел племяннице революцию и просидел в Средне-Колымской ссылке три года. В институте Гувера хранятся его письма.

Племянница между тем утешалась музыкой. Класс фортепьяно Антона Рубинштейна не обошелся без госпожи Зунделевич, в девичестве Зунделевич. Кончив учебу, она перебралась в Ревель переждать враждебные вихри, а дед, подтвердив репутацию, женился на русской и в Омске попал под поезд. В восемнадцатом году колчаковская директория потеряла верного сына.

От дяди не отставал племянник. Активно посочувствовав Мартову, он попал в Петропавловку. В те времена командиром гарнизона был некто Кублицкий-Пиотух. Уж неизвестно как, но дочь его Софья влюбилась в Моисея. Она носила ему передачи. Книжки и шерстяные носки сделали свое дело. Не спросясь родительского благословения, еще неиспеченная чета нелегально перебралась в Берлин. Породниться напрямую с Ал. Блоком, правда, не удалось, но красивая фамилия украшает и древо, и книжную полку — “Лифляндские и эстляндские сказки в переводах С. Кублицкой-Пиотух”, Берлин, 1923 год.

Не будем гадать, что помешало идиллии, говорят — гнусный характер, но Моисей распрощался с Софией, женился на немецкой еврейке и кончил свой путь в Иоганнесбурге совладельцем алмазных приисков. Небедный был человек.

Сестра Моисея, девушка самостоятельная и гордая, не сумела удержаться от искуса. Примкнув к братьям, моя двоюродная бабушка поплатилась. Счет, предъявленный к оплате, обернулся палестинским сертификатом. Несколько месяцев Петропавловки освежают воспоминания о субботней фаршированной рыбе.

Забегал между делом на Невский, 88 знакомый всем человек. Забегал не один, с дамой. Уважали его всерьез. Человек пил чай и больше помалкивал. Зато она трещала без удержу.

— Да кто она?

Мы сидели в саду ашкелонского дома двоюродной бабушки. Магнитофон мотал для истории семейную хронику.

— Надя, Надежда ее звали. Большая была говорунья. А он редко когда улыбался.

— А чего в нем больше было, добра или зла?

— Зла. Он для меня всегда был слишком правый. А Моисей его почитал.

Попив чаю, человек исчезал восвояси.

— Теперь неделю руки мыть не будешь? — любопытствовала бабушка. Недолго думая, Моисей развернулся и вlepил сестрице положенную ей за политическую непрозорливость пощечину. Воспоминания сохранились на целую жизнь.

Таким образом с большевизмом было покончено. Вот и вторая сестра, перевернув традиционное направление — из метрополии в провинцию, — пакует багаж: в Ревель, в Ревель...

В Ревеле цвела еврейская буржуазия. Небольшое перемещение в пространстве повлекло за собой смену декораций. С социал-демократическими идеями расставаться было невыносимо, но придать им пристойное обрамление очень хотелось. Привычка к организованной деятельности и личные качества утвердили Розу Осиповну в главарях эстляндских сионистов. Идеологические волки насытились, сохранив при этом невинность.

Наступил двадцать седьмой год. Четыре года минуло со смерти любимого дяди. Слава его пока была на подъеме. В Москве праздновали 10-летие Октября. Хранителя архива и семейных традиций, Розу Осиповну официально пригласили на юбилей. Тогда в музее Революции еще существовало отделение Аарона Зунделевича. Но нет, это не произвело должного впечатления.

“... Я встречалась с сенатором Калмановичем, он был большой друг нам всем. Ну, и я видела ту Россию, ту Москву. Тогда еще не было таких притеснений, которые произошли позже. Но я увидела, что евреям там нечего делать. Никто не хотел слушать о евреях. Я вернулась домой в Ревель, у меня был муж, дети. Я решила уехать в Палестину”.

Из Союза я уехал не так уж давно. Зато последним.

Вот поколение дедов: Ида, Мойсей, Роза, Елена, Генриетта. Артур, Руфь, Анна, Александр, Стелла, Аарон, Алек, Вера.

Вот поколение прадедов: Аарон, Мирон, Леон, Иосиф, Берта, Дора, Илья, Моисей, Елена.

Вот поколение прапрадедов: Исаак и Анна. Вильно.

ДЕЙР ЭЛЬ-ШАМС

Я живу в Эмек-а-Хессед. Если вы учили историю Войны за Независимость, вы должны знать кибуц Кфар-Майзелис, силами шестидесяти бойцов Хаганы сдержавший наступление вражеской бригады. В 1952 году неподалеку от кибуца был основан город развития Эмек-а-Хессед. Город лежит на дне плоской долины, засеянной хлопком. Горы находятся вдалеке: невысокая прерывистая цепочка холмов на западе и на севере и почти отвесная стена на востоке. Вечером, когда на хребте нет дымки, кажется, видны все складки голых вулканических склонов, сиренево-серых с прожилками блестящего белого минерала. Я не помню распространенного в городе названия, но оно неверно. Красивый камень. Следов жизни не видно в этих горах, но, если присмотреться, на одной из вершин можно увидеть крошечный кубик с куполом наверху. Это Дейр эль-Шамс, обитель огнепоклонников, находящаяся под надзором военных властей. До 1967 года она служила наблюдательным пунктом для врага, и, говорят, седовласый шейх Кайс Абу-Камаль, который своим лучистым взором завораживает иностранных корреспондентов, активно сотрудничал с феддаюнами.

Север города застроен желтовато-серыми домишками из рыхлого с подтеками бетона, которые уже рушатся и вновь надстраиваются их обитателями. Дома складываются в узкие улочки. Эту часть называют Шхунат-Кедари, по имени великого раввина-чудотворца Кедари, собравшего большие по тем временам деньги на строительство. Юг города режут широкие улицы с трехэтажными блочными домами. Обе части подпадают под проект социального оздоровления, о чем свидетельствуют красочные вывески. Аллея Сионизма, на которой я живу, — главная улица города — соединяет обе части. Как раз напротив моего дома находится Кикар а-Пальмах, площадь и торговый центр Эмек-а-Хессед. В середине мощеного пространства стоит скульптура: три кирпичного цвета куба, нагроможденных один на другой, под названием "Помянем сынов наших". Вокруг располагаются лавочки, киоски, кафе, отделения банков,

“Суперсоль”,¹ кинотеатр. Здесь же по вечерам собирается молодежь, здесь же останавливается автобус на Кфар-Майзелис, который пересекает шоссе на Беэр-Шеву.

Первый человек, который утром появляется на Кикар а-Пальмах, — это работник муниципалитета по прозвищу Хомейни. Такой маленький, скрюченный, с сухонькими ручками и ножками старичок. У всех проходящих он спрашивает: “Ма саа?”² — и норовит поздороваться за руку. Многие брезгуют, но большинство здоровается с ним: “Как дела, Хомейни?” И Хомейни сияет. Он выметает мусор, опорожняет урны и включает брызгалки. После уборки грязи остается ровно столько, сколько было, но кто еще, кроме Хомейни, будет работать?

Остановку автобуса он не убирает. Он солидарен с отцами в их споре с “Эггедом”³ о том, кто должен содержать эту остановку. Муниципалитет называет ее автовокзалом и требует соответствующего налога. В “Эггед” считают по-другому. Как бы то ни было, с этой остановки отходят автобусы на Кфар-Майзелис, Маале Гвура, до Цомет-Гиборим на Хайфском шоссе и в Гиват-Шисим — а это уже территории. Одним словом, выход во внешний мир. Сама остановка напоминает кораблик в море окурков, семечек и оберток от мороженого. Сходство подчеркивают столбы-мачты, некогда подпиравшие навес.

Где этот навес, все знают. В десяти шагах от остановки над киоском Проспера “Шлом-а-Галиль”. Однажды среди бела дня Проспер снял его с остановки и перенес к себе. Потому что клиентам сервис нужен, а на остановке без навеса только всякие там кибуцники страдают. Настоящий израильтянин солнца не боится. Проспера в Эмек-а-Хессед знают все. На прошлых выборах его даже показывали по телевизору, потому что он толстый и выше всех залез, когда били стекла в штабе оппозиции. Кроме того, его киоск — единственный в городе, что торгует в канун субботы, и за это на него наложен “херем”.⁴ На ночных проповедях девятого ава Проспер играет роль наглядного примера, почему Мессия еще не пришел в Эмек-а-Хессед. Проспер хочет расширить киоск и сделать из него “Американский бар”, но он еще не скопил необходимую сумму. Проспер надеется, что проект социального оздо-

1. Большой гастрономический магазин.

2. “Который час?” (искаженный иврит).

3. “Эггед” — кооперативная автобусная компания.

4. “Херем” — синагогальное проклятие — отлучение, запрещающее верующим общаться с тем, на кого наложено наказание.

ровления не обойдет и его. Он рассчитывает на наследников раввина-чудотворца Кедари, живущих во Франции. Его дядя, член муниципального совета, ездил туда недавно. С профессором Раймондом Кедари ему как-то не удалось встретиться: тот был чрезвычайно занят и дважды откладывал беседу. Зато Аарон Кедари, сам уже престарелый и великий раввин, живущий в Тулузе, принял его незамедлительно. Дядя рассказал ему, что, увы, многие молодые люди из Шхунат-Кедари на плохом счету у полиции, а некоторые — вы только себе представьте! — даже дезертируют из армии. Ему также удалось связать эту проблему с необходимостью построить бассейн и укрепить развивающееся дело “молодого бизнесмена” Проспера Ваакнина.

Престарелый и уже великий раввин (поговаривают даже — немножко чудотворец) встал и провел уважаемого гостя на балкон. Прочитировал пару стихов из Псалмов и связал их с прекрасным пейзажем, открывшимся с балкона. И добавил:

— Кто из нас такой умный, что понимает планы Всевышнего? Лишь сосредоточение и взгляд в глубь вещей разъясняют нам немногую толику. Один еврей из Касабланки пришел как-то к великому равву Кедари и попросил его благословения взойти в землю праотцев. Спросил рав: “Хорошо ли еврею в Касабланке?” Сказал еврей: “Плохо очень” — и приумножил речи о своих горестях. И привиделось еврею, что умер он и идет к престолу Всевышнего, а мимо него везут повозки, груженные камнями, и на каждой ангел. Спросил еврей ангела, что проезжал рядом: “Скажи мне, что ты везешь?” Сказал ангел: “Грехи твои на суд везу”. И не было конца повозкам. А за ними увидал еврей иного ангела, идущего налегке с узелком. И спросил его: “Где твоя повозка?” И ответил ангел: “Я несу твои добрые дела, ноша моя не тяжела”. И убоился еврей страхом великим и так пришел на суд. И пал еврей на лице свое. А судейские ангелы положили на одну чашу его грехи, а на другую добрые дела, и чаша грехов даже не шелохнулась. И сказал Судья Праведный: “Положите к добрым делам все страдания этого человека”. И поднял еврей глаза и увидел, как сыплют и сыплют его страдания в оправдание ему и чаша грехов начинает подниматься. И возопил он: “Еще страданий, еще страданий!” И очнулся, а великий рав Кедари стоит над ним и молвит: “Будут тебе еще страдания”. И благословил его оставаться в Касабланке.

Аарон Кедари поклонился и проводил дядю четыре шага за порог, как того требует учтивость. Одного только дядя так и не по-

нял, будут деньги или нет. Проспер сказал, что будут, это они все так сначала.

Я не могу сказать, чтоб я его ненавидел. Даже если он муж Кармелы. Когда мы вместе сидели в тюрьме Нахал-Римоним, он раскрывал ширинку во время обходов, вынимал снасть и говорил: "Мне вас, господин начальник, хочется..." Никакие наказания не помогали, потом перестали обращать внимание, и он прекратил разгильдяйство, потолстел, стал учтив, непроницаем и жесток в обращении с соперниками. Вышел он на полгода раньше меня.

Он открывает свой киоск в семь, когда автобусная остановка полна солдатами с базы "Иошуа". Первый его покупатель — молодой капитан с большими персидскими глазами, всегда в застиранной полевой форме. Он заторможен, как все хронически недосыпающие люди. Его подбирает на гражданском "субару" Белый Медведь, заслуженный старшина части, один из тех шестидесяти бойцов Хаганы, которые удержали долину от египетской бригады. Капитан покупает "Тайм".

Затем Кикар а-Пальмах наполняется горожанами: что-то шевелится за стеклами "Суперсоля", старые биржевые волки Шайки и Шуки направляются к задней двери банка "Леуми". Солнце, полчаса назад показавшееся из-за хребта, уже жарит всюду, ветра нет, ни облачка, и все покрывается белесой дымкой. Город заворачивается в кокон. Скоро дети пойдут в школу, где им объяснят, что дважды два четыре, прекрасно умереть за отчизну, а царь Давид объединил нацию.

И наконец на остановке появляется Кармела. Она встает позже своего мужа. Площадь она пересекает наискосок, не подходя к его киоску. Я не знаю, что означает их утренняя отчужденность. Она стоит на остановке каждое утро и ждет автобуса. Может быть, это хороший признак. Или наоборот. Я ее ведь очень плохо знаю, несмотря на все, что у нас было.

У Кармелы расстегнуты три пуговицы на рубашке, и лифчика она не носит. Красная юбка ниже колен, рот большой, все время чуть улыбается. Одним словом, "куссит".¹ Очень хороша собой Кармела. Ей восемнадцать лет, и она ярко-рыжая ашкеназия.²

Я с ней познакомился три года назад у телефона-автомата. Она очень любит ходить босиком по траве, — я этого признания дол-

1. "Куссит" — очень грубое арабское выражение (о женщине)

2. "Ашкеназ", "ашкеназия" — еврей или еврейка европейского происхождения.

жным образом не оценил. Мы съели по фалафелю — разумеется, на той же площади Пальмаха, в киоске “Энтеббе”, которым теперь под названием “Шлом-а-Галиль” заправляет Проспер. Воздух был возмутительно душный и липкий, выпитая “кола” выделялась тут же на спине и под мышками, оставляя пятна: разумеется, мы тут же встретили несколько одноклассников Кармелы и ретировались в кино. Шел фильм про чудовище, которое питалось космонавтами, а Кармела была вся рыженькая, если вы меня понимаете, с рыжими поцелуями и рыжим смехом.

Ее мать, из родовитой семьи мошавников, с ума сошла на почве девственности. Кармелу не отпускала на вечеринки, ни в поход, ни в Гадну,¹ а если она задерживалась до десяти вечера, то находила ее по телефону и силком вела домой.

Назавтра я побывал у нее дома. У Кармелы была своя маленькая комнатка, бывшая детская. Шкаф, секретер с косметикой и двумя десятками учебников и киносценариев, столик с кружевной салфеточкой, жесткий узкий диван. Она принесла мне стакан тепловатого растворимого кофе, сама же молча уселась напротив, сдвинув колени и глядя на меня исподлобья. “Скажи, чет или нечет”, — попросила она. “Чет”. — “Спасибо”. Прическу она тогда носила гладкую, и вместе с широким лицом это ее делало очень забавной. На ней был короткий домашний халатик на голое тело, но это ни ее, ни меня не смутило. Кармела вязала узоры. Смеясь и вскидывая руки, она разворачивала передо мной салфетки, скатерти, покрывала. “Это немножко сети”, — сказал я. “Да”, — ответила Кармела и, скинув халатик, повисла у меня на шее. В комнату вошла мама, неся телефон. “Я только хочу узнать, не надо ли вам позвонить, — сказала она заранее приготовленную фразу. — Кармела, что это такое! Немедленно одевайся и отправляйся к папе”. Мне любезно была дана возможность ретироваться.

После этого видеться нам стало очень трудно: в Эмек-а-Хессед невозможно укрыться от посторонних. Кармела прогуливала уроки, и мы встречались на третьей остановке автобуса среди хлопковых полей. Таких встреч было три или четыре. Шла полоса хамсинов, и при всей тяге друг к другу нам приходилось одолевая неизбежную головную боль и характерную для такой погоды апатию. Сейчас, вспоминая, я чувствую себя лгуном. Кармела нынешняя, взрослая, завитая и длинноногая, находится в полном противоречии со всем, что я помню. После тюрьмы я старался не попадаться ей на глаза.

1. Подготовительные отряды молодежи допризывного возраста.

Пустота и липкость городка влияли на нас, они могли разладить нашу удивительную и непрочную связь. Мои соседи по “хостелу”, русские иммигранты, знающие меня со дня приезда в страну, родовитая мама Кармелы, грозившая расправой, одноклассники, прыщавые и без, знающие про “прекрасно умереть за отчизну” и дважды два, уже прошедшие аборт и только еще мечтающие потерять невинность, с мотоциклами и без; ежевечернее скопление горожан на Кикар а-Пальмах и пустота на боковых улицах, разреженная желтым светом из окон и голосами из телевизоров, — все казалось не то чтоб неприемлемым, но унижительным, как физический недостаток. Мир же вне Эмек-а-Хессед заставлял ожидать подвоха. Вселенная казалась нам своего рода увеличенной Эмек-а-Хессед, Долиной Благосердия, где бытие человека сопоставимо с ценой дунама земли, колодца и мира с соседом.

Казалось, чтобы окончательно найти друг друга, мы должны перевернуть все, да так, чтобы при перемене слагаемых сумма забыла, о чем гласят правила. Секс у нас был на редкость удачный, целомудренный и открытый. И как есть высокий слог, был у нас высокий секс, говоривший из нас о чем-то, что более, чем мы сами. Но бывали минуты страха друг перед другом, недоверия, боязни, что лучшее уже ускользнуло от нас. Мы теряли в растерянности речь, отчуждались, отъединялись. Что тогда думала Кармела? Я уж этого не узнаю.

Жена моего соседа по камере, Кармела Ваакнин, садится в 7.15 в желтый автобус Купат-Холима. Все как будто так и есть, и тем не менее эта фраза — ложь до последнего слова.

С Проспером мы пробыли вместе семь с половиной месяцев, пока его не освободили. Он ранил кого-то в схватке между двумя кланами Шхунат-Кедари: Ваакнин и Ицхакишвили. Был большой процесс, о котором писали в “Маариве”,¹ потом он забылся. В камере Проспер занимал главенствующее положение, несмотря на молодость, и его авторитет держался не только на силе, главным образом не на силе. Со мной он был вежлив и презрителен и никогда не допускал меня в свой круг, где обсуждались внутри-тюремные дела. Начальство его тоже ценило, и кличка “мухтар” до сих пор следует за ним, но постороннему лучше его так не называть.

1. Крупная израильская вечерняя газета

Кармела иногда называет его мухтаром.

Вот он, мостик, который как-то связывает мои воспоминания и те факты, которые я никак не могу принять за реальность. Не для этого ли я вернулся в город, где меня все знают как "совратителя малолетних" и перешептываются за моей спиной, где я доживаю последние недели пособия по безработице? Что я вообще делаю в этом "хостеле" среди русских иммигрантов, позволяя Нине Юсуповой с третьего этажа приходиться ко мне согнуться и показать, как выросла ее дочка? Один раз я попросил Нину остаться на ночь, но это был один раз. Потом она снова стала приходиться.

Один раз он бил меня вместе с другими сокамерниками. Было начало войны, патриотические элементы требовали полностью разделить в тюрьме евреев и палестинцев, просились добровольцами на фронт. Я был антипатриотическим элементом. До сломанных ребер. Потом нам сделали "сульху". Мест в тюрьме не было. Начальство демонстративно предложило мне на выбор "сульху" или камеру с палестинцами. Я не умею останавливать бурю взглядом. Когда выбираешь между "Фатхом" и патриотическими элементами, выбираешь последние.

День прошел скоро. Я подмел комнату, вытряс на общем балконе ковер, постирал трусы, прибрал в ванной. Сходил на биржу труда, отместился. Предложений работать, к счастью, не было. В городе закрылась текстильная фабрика и безработных было полно. Сходил в магазин, купил курицу и рис. Хотел сам согнуть, но при большой нелюбви к этому делу решил подождать Нину. Нина пришла только поздно вечером, уложив дочку. Замялась. Сообщила, что вообще-то сегодня есть танцы в Доме культуры. Я ответил, что век не танцевал, а прежде и вовсе не умел! Мой неловкий отказ огорчил Нину. Мы посмотрели по телевизору фильм о гангстерах, "Строку из Писания"¹ и полночные новости. Передачи кончились. Перед национальным гимном Нина выключила телевизор, поцеловала меня в щеку (ввиду позднего часа это было приятно и очень трогательно, как и все ее поведение), и мы расстались. К ее чести, она никогда не смотрела на меня вопросительным взглядом в такие вот поздние часы.

И был вечер, и было утро. И вновь смотрел Ярон Кабиров в окошко, а Кармела Ваакнин приходила к автобусу. А Долина Благосердия, Эмек-а-Хессед, пахла пылью и перегретым эвкалиптовым листом.

1. Заключительная телепередача дня.

После обеда, когда на восточном хребте нет дымки и видны все складки и морщины на голых вулканических склонах с прожилками блестящего белого минерала, который в долине по ошибке называют полевым шпатом, через редкий кустарник предгорья поднимались мы с Кармелой наверх, туда, где ветры сильны и видны просторы трех стран, белокаменные деревни и следы древних городов.

Тьма, наступавшая в сторону Средиземного моря, накрыла ненавистный Ярону город. Исчезло шоссе, кружащееся в отрогах гор, которое связывало долину с еврейским государством, спустилась с неба ночь и залила Аллею Сионизма, площадь Пальмаха с киосками и кинотеатром, Дом культуры, Шхунат-Кедари, синагоги, детские сады, бараки в промышленном районе. Пропал Эмек-а-Хессед, город развития на обочине второстепенной дороги, пропал и остался тусклой россыпью в тумане, нытьем под ложечкой, необъясненным страхом...

Мы шли по тропе, известной мне со времени службы в армии. Это была довольно широкая тропа, и по ней можно было проехать на осле с поклажей. Когда-то в деревне Касдийя покупали огнепоклонники припасы, потом деревня обезлюдела, а через четыре года в заброшенных домах появились первые жители нового города развития, Эмек-а-Хессед. А тропа в горы в самом подножье была перерезана линией прекращения огня.

Мы несли довольно тяжелый груз: два рюкзака, матрасы, воду. После того, как спустилась ночь, я зажег фонарь, и мы поднимались еще полчаса до первой площадки, где можно было остановиться. Подъем был недолгий, но мы не спешили. Процесс восхождения очищал нас, и мы входили в океан горного воздуха не торопясь, как погружаются в прозрачный источник. На привале ничуть не уставшая Кармела летала, как рыжий огонек, по площадке, разыскивая то спиртовку, то консервный нож. Наконец мы все нашли, и жестянка гуляша, по недоразумению открытая раньше времени, стояла в шатком равновесии на спиртовке.

Кармела подбежала ко мне и спросила: "А можно все, что хочется?" Это был у нас частый вопрос. "Да", — сказал я и поднял ее на руки. "Нет. Я первая!" — соскочила она, схватила меня за ворот и разодрала сверху донизу рубашку: "Вот так им, и тебе тоже, за то, что ты раньше не догадался!" Она сдернула с себя футболку, расстегнула лифчик, встала на цыпочки и спустила его в темноту за край площадки. Осталась в одних шортиках...

Потом мы ели подгоревший гуляш. Давленные помидоры. И: самые нежные ласки, и волосы ее дрожали, как огонь.

Когда мы уже не могли, наступило утро. Мы лежали на матрацах, а над нашими головами постепенно высветлялось небо: черное, синее, аквамариновое, белое в дымке, голубое. Солнце уже освещало прибрежную равнину, а в складках гор еще лежали ночные тени. Эмек-а-Хессед был неразличим.

По десяти тысячной карте, которую я спер из армии, мы нашли источник и пробрались к нему, оставив вещи на стоянке, — голые, в кедах и с полотенцами. После бессонной ночи идти не хотелось, и мы провели день у родника, полусонные, блаженные, счастливые. Кармела рассматривала скудную горную растительность, скелетики сколопендр, муравьев, тут же прибежавших на остатки пищи. Мы немного болтали, дремали, возвращались друг к другу в объятия, и наше чрезмерное желание вызывало друг в друге смех и новую нежность.

Это был единственный день, когда Кармела была со мной, и ею не нужно было делиться, когда нам никто не помешал любить.

Назавтра мы уже стояли на вершине. Сильный ветер, казалось, налетал на несущую нас скалу. Чудо совершилось. Кармела была уже не желанным и милым существом, она была моим вторым "я", неотделимым, просветленным. Я чувствовал биение ее пульса на расстоянии десяти шагов. С горы нам открывался арабский Восток. За пустынной долиной, разделенной вдоль последним стратегическим шоссе еврейского государства, начинался пологий зеленый склон с каменными домиками и оливами, разрезанный оврагами, заросший фиговыми и гранатовыми деревьями и виноградом, с ручейками на дне, стекающими, как в прорву, в расщелину, которая, по утверждению геологов, превратится потом в пролив, отделяющий еврейское государство от других стран, причем по той самой линии, где тянется двухрядный забор из колючей проволоки, или чуть за ним, чтобы обеспечить полосу безопасности для стратегического шоссе.

С другой стороны был гигантский открытый жертвенник: выпуклая скала с круглой выемкой посередине, забранной решеткой, заполненной пеплом, углями и обгоревшими костями баранов. Еще дальше виднелся правильный куб из камня с куполом посередине.

Преодолевая ветер, мы подошли к маленьким воротам и нажали на кнопку интеркома.

— Кто там? — спросили нас по-арабски.

— Мы, — ответил я одним из немногих арабских слов, которые я знал.

— Какие “мы”? — голос перешел на иврит.

— Сыны человека, — сказала Кармела. На иврите это звучало уместно.

— Входите! — и зажужжал электромагнит, открывая дверь.

Мы оказались в пространстве между наружной стеной и святилищем. Внутри находился куб поменьше, он-то и был накрыт куполом. Наружные стены служили для жилья, трапезной, складских помещений. Свет проникал в них через окошки с внутреннего периметра стены. Храм же, построенный из белого искрящегося камня, какого много в здешних горах, имел совершенно гладкие стены. Пространство между храмом и стеной было метра полтора.

— Чем могу вам помочь? — к нам подошел молодой человек в белом галабиие и с непокрытой головой. Его лицо принадлежало к числу тех, что можно увидеть и в университете и в медресе, но и часто у друзей или огнепоклонников, когда они в форме израильской пограничной охраны стоят на дорожных заставах. Полные губы, узкий, но тяжелый подбородок, тонкий нос, близко посаженные, пристальные, из глубоких теней глядящие глаза, коротко стриженные волосы.

— Вот, мы очень любим друг друга и пришли сюда, — ответила Кармела.

— Тебя зовут Кармела? — спросил он.

Кармела кивнула. Ее глаза расширились, ноздри поглощали ветер с привкусом дыма. Учащенный пульс шумел в моих висках.

— Шейх мне говорил, он ждет тебя и этого господина. Хорошо, что вы пришли сейчас. Шейх не занят. Ступайте за мной, — он повернулся лицом к белоснежной стене, положил на нее ладони и шагнул вперед.

Мы ступили за ним и оказались в пространстве между наружной стеной храма и святилищем. Все было так же, только в свободном пространстве стояли колонны, подпирая купол, по полу были постланы ковры, а стены святилища были из чеканного серебра. Я взглянул на свои обутые ноги.

— Ничего, вам можно, — с улыбкой сказал наш спутник и повел нас вокруг святилища.

За вторым поворотом мы увидели легонького старичка в чалме и белом, расшитом шелком халате, сидевшего на подушках. Он

вспорхнул, приблизился к нам и сказал на немного архаичном иврите:

— Благословенны в приходе вашем. Милые моему сердцу, разделите со мною трапезу.

В его руках появились три персика, два он роздал нам. Первым начал есть он. Кармела взглянула на меня, чтоб я начал раньше ее. Шейх лукаво улыбнулся. Мы молча посидели какое-то время, греясь в сиянии шейха. Затем он встал и молча обнял нас. В глазах его были слезы. Появился служитель, и мы поняли, что пора уходить. Я низко поклонился шейху. Кармела же бросилась на землю и заревела как маленькая девочка, у которой "все пропало". Шейх, согнувшись, отвернулся к стене. Его худенькие плечи дрожали. "Идите, дети", — беззвучно прошептал он.

Первое, что мы увидели перед храмом, был армейский вертолет. Двое в форме ВВС сидели в кабине, а снаружи, лениво прислонившись к кузову, курили два полицейских. Один из них, пожилой йеменец с жестким ежиком седых волос, подошел к нам и спросил документъ. Их у нас не было. Другой в это время сравнивал мое лицо с фотографией, которую держал на ладони.

— Он? — спросил йеменец.

— Наверно, — лениво ответил второй.

— Вы Ярон Кавуров?

— Кабиров.

— Правильно, Кабиров. Можно вас на минутку? — он отвел меня в сторону по направлению ветра и сказал:

— Слушай, у тебя неприятности из-за этой девочки. Я, конечно, все у вас понимаю, но ее мамаша считает иначе. Короче, ты арестован по обвинению в совращении малолетних. Не пугайся, судя по всему, выйдешь сухим из воды, в крайнем случае — женишься, да ты и так не откажешься, я думаю. Но пока ты должен побыть под стражей. Вот приказ об аресте. Распишись здесь. Прекрасно.

Быстрым движением он вынул наручники и защелкнул их на моих руках.

— Прости, я вижу, ты хороший парень. Но у меня приказ инспектора. Можешь рассчитывать на мое свидетельство на суде, все в твою пользу.

Кармела кричала, как дикий зверь. Ее держал сзади за локти второй полицейский.

На суде Кармела не появилась. Ее мама, отпрыск родовитой семьи халуцим, заявила, что это травмирует девочку. В тюрьму мне никто не писал, и только за три месяца я получил записку от какого-то Маймона Саады, в которой сообщалось, что Кармела вышла замуж. По-моему, это был тот самый полицейский.

Сегодня я снова с ним встретился. Он вышел в отставку и сменил прежнего директора биржи труда, умершего от инфаркта. Он мне сообщил, что через десять дней я теряю право на пособие. Что с моей репутацией нелегко найти работу в Эмек-а-Хессед, разве что помогать убирать улицу старичку Хомейни. С другой стороны, у него есть два предложения, очень почетные, но не для всякого пригодные. Первое заведомо отпадает – охрана израильских представительств за границей: у меня уголовное прошлое, а у него нет таких связей, чтоб устроить меня в обход правил. Второй вариант таков, что он не видит для меня особого смысла отказываться: после закрытия текстильной фабрики он легко найдет еще двадцать кандидатов на это место. Речь идет о поиске и бурении колодцев в пустыне. Прекрасное окружение, да, удовлетворение от работы, и вообще господин Кавуров не дурак сам по себе. Завтра здесь будет представитель компании, и можно будет на месте подписать контракт. Я ему уже говорил о вас. Кстати, условия, – и он потер большим пальцем об указательный, – сказочные. Так что мы вас ждем.

Я пришел домой и лег на диван. Страшно хотелось курить. Но в такую влажность дым как бы оседает в мозгу. Заснул. Опять снилась тюрьма в Нахал-Римоним. Встал, подмел комнату. Поджарил куриные котлеты с рисом. План старого йеменца был сносным и, видимо, единственным. Пустыня в отличие от Аллеи Сионизма не предъявляет к тебе требований быть тем и не быть этим. Казалось, вот-вот наступит облегчение.

Я разделся и направился в душ. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошла Нина.

– Ой, ты голый, прости, пожалуйста! Оденься, я тебе тут гостей привела.

– Подожди минутку, он оденется, – добавила она на иврите.

Как известно, повелительное наклонение на иврите принимает родовые окончания.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА: ДЖОЙС И БЕККЕТ

Джойс и его "Улисс": почему они не добрались до России

Строго библиографически проза Джойса увидела свет в России еще до того, как, прорвав заслоны цензуры, она вышла в Англии, а тем паче в Ирландии, где "Улисс" еще до недавнего времени ходил в "тамиздате" и даже сейчас не поощряется. Библиографы расскажут вам о главах, вышедших Бог знает где в 20-х годах, и в "Интернациональной литературе" в 1935-м, и о двух-трех переводах в самиздате, включая полный перевод Хинкиса, все еще лежащий в столе какого-то московского издательства. И все же прямое влияние "Улисса" никак не сказалось на русской литературе.

Легко свалить вину на советскую власть — при другом режиме, возможно, "Улисса" перевели бы и напечатали. Но поскольку мне представляется, что советская власть выражает "консенсус", то есть всенародное согласие России, причины "нехода" Джойса можно найти в другом — в его идеологическом несоответствии этому согласию.

Джойс был жидом и предателем, так и не будучи ни евреем, ни коммунистом. Свой нож в спину ирландского народа он вогнал из парижского далека. Героем он сделал еврея, Блюма. Ирландцы в его книге страдают от триппера, а не от английской оккупации. Нам он должен напомнить Венечку Ерофеева, книга которого была отвергнута в свое время всеми эмигрантскими изданиями как клевета на русский народ, пока ее не напечатал Володя Фроммер в Иерусалиме.

Понятно, что, когда в 1930 году в России были ликвидированы последствия Октябрьской революции (во главе остался Сталин, а не Краснов или Пуришкевич, но это уж мелочи), исчезли и шансы для проникновения "Улисса", этого образчика подрывной литературы, в Россию. Насколько несозвучен "Улисс" современной России, можно судить хотя бы по тому, что ни один из писателей русской эмиграции не оказался в Париже добровольно — или, по крайней мере, не признался в этом.

Тем не менее для западной культуры "Улисс" оказался событием, сравнимым лишь с Улиссом Гомера. Его "идея" (если можно найти основную идею на его семистах страницах) вполне понятна для современников Маяковского и Горького: "Плевать, что нет у Гомеров и Овидиев людей, как мы, от копоты в оспе. Я знаю — солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи!" — или еще проще: "Человек — это звучит гордо". Только Джойс дал этой мысли нетривиальное толкование — он не подкрашивал своих героев, чтобы подогнать под Гомеров стандарт, а просто провозгласил их равными и доказал это равенство без лакировки.

Эстетика и поэтика Джойса также созвучна той же эпохе в России —

из предлагаемого здесь отрывка "Сирены" ясно, что Крученных, Хлебников, в меньшей степени ранний Леонов передавали на той же волне. "Сирены" в этом смысле являются предтечей "Финнегановых поминок", книги, состоящей из 500 страниц "Дыр-бул-щир дизенгофнул зензивей".

Поскольку роман, несмотря ни на что, нашему читателю, грубо говоря, неизвестен, скажем, о чем речь. Действие "Улисса" происходит 16 июня 1904 года, отмечаемое с тех пор поклонниками как Блюдень (Bloomsday). В романе рассказывается все, что говорил, делал и думал герой, сборщик объявлений для газеты "Фримен", сын крещеного венгерского еврея и ирландки Леопольд Блюм. Ничего особенного в этот день с ним не произошло. С утра он вышел, купил свиные почки, позавтракал с женой, Молли, узнал, что к четырем часам к ней придет ее импрессарио Пламень Бойлан и наверняка проимпрессирует ее. Выйдя в город, он заглянул на "до востребования" и получил (на имя Генри Флауэра) письмо от Марты, откликнувшейся на его объявление типа "Писатель ищет понимающую". В редакции он поспорил с Нанетти, боссом, из-за объявления Кейса. Во время обеда он написал ответное письмо Марте. Зашел в музей, чтобы проверить, как греки ваяли жопоход. К четырем часам проголодался Блюм и забрел в ресторан "Ормонд", где и происходит действие "Сирен".

Сирены — две подавальщицы, которые ничуть не завышены Джойсом. Или, более точно, "Сирены" — это глава, в которой есть девы моря, девы бара, соблазн и искушение, морские раковины, песнь моря, приход странника, опьяняющие песни — все то, что есть в "Сиренах" в Одиссее. Джойс в этой главе, как и во всей книге, избегает точного сопоставления, пародирования Гомера — лишь отдельные элементы Одиссеи попадают в "Улисса", и они перетасованы опытным крупье.

Читателю важно понять, что Джойс не смеется над несходством подавальщиц с сиренами или Блюма с Одиссеем — последний автор Возрождения, современный Рабле, он описывает милостиво, точно и величаво ухаживания Ленегана, мастурбацию Блюма и гоноррею Рассказчика. Герои пердят, рыгают, наставляют рога, напиваются — такие мы, современные герои, и ничуть не хуже героев древности.

Журнал "22", верный своей просветительской миссии, решил познакомить читателя с неизвестным ему Джойсом. И хотя знакомство это способно изменить мироощущение кого угодно, "несозвучие" Джойса нашей эпохе может помешать восприятию этой книги. В кумирах современного русского Зарубежья ходит ныне эпигон Ричардсона (с националистическим оттенком певцов Козьмы Крючкова) и его эпигоны. Майя Каганская пишет с присущим ей оптимизмом: "Сталинская эпоха окончилась. На улице нас ждал Ст. Петербург, 1913 г.". К сожалению, для большинства читателей как в России, так — хоть и в куда меньшей степени — и на Западе Серебряный Век еще не настал. Поэтому, например, безудержная слащавая болтовня некоторых эмигрантских "авангардистов" расценивается в эмиграции как язык "русского Джойса". Поток сознания и прочие приемы Джойса, использованные в "Улиссе", не имеют ничего общего с курсивными внутренними монологами из журнала "Юность", этими первоисточниками "наших Улиссов". Для нас, прекрасных патриотов России, Израиля, Англии и Германии (нужное подчеркнуть), неприемлема и постоянная насмешка

Джойса над лучшими чувствами своего народа. Насколько ближе нашему сердцу роман "Инда взопрели озимые" в советском и эмигрантском вариантах!

Интересно, что на иврите существует "наш Улисс" — это двухтомный роман "Дни Циклага" С. Изгара, где время останавливается на пыльных холмах Южной Иудеи, а герои — солдаты Пальмаха. Изгар не сделал своего героя иностранцем, хотя мог бы достичь точной симметрии: если Одиссей Гомера был действительно семитом (финикийцем, как считал Джойс по стопам Берара) среди греков, еврейский Гомер мог бы сделать своего Улисса греком (из Греческого посада в Иерусалиме) среди семитов. В таком израильском "Улиссе" сиренами были бы две "фрейхи" и т. д. Впрочем, уникальность "Улисса" еще и в его комедийности. Ирландцы любят юмор, и интересно, что еще Владимир Набоков, заядлый джойсист, сравнил "Улисса" с дилогией Ильфа и Петрова.

И хотя немало современных авторов вышло из визитки Блюма, прямым учеником Джойса был мало похожий на него Сэмюэл Беккет. (Русский Беккет, видимо, погиб от перегибов.) Беккет разработал новую стадию внутреннего монолога и технику долгой выдержки, когда очень долго настолько ничего не происходит, что любое последующее событие воспринимается, как гром. Беккет пошел еще дальше по пути эмигранткины, не только уехав в Париж, но еще и перейдя на французский — чтобы отказаться от нежелательных тонкостей и нюансов. Беккет-драматург почему-то больше знаком нашему читателю, а вот его проза раньше не переводилась. Беккет был секретарем и учеником Джойса, и последний однажды рассказал, что после пьянки в честь десятилетия выхода "Улисса" ему пришлось оставить закирявшего Беккета "в одном из заведений, навеки связанных с именем императора Веспасиана".

Джеймс Джойс

"СИРЕНЫ"

Глава из романа "Улисс"

Бронзолотом слышит копытбулат, сталежвон возмутютю тютютю.

Сколь, сколь сколол со скалистых ногтей, осколки. Ужасная!
И заалелась еще золотее.

Два темных тона дунул.

Бум. Белый плюмаж на.

Золотые бельведеры волос.

Скачет роза на бархатных грудях бархатной, кастильская роза.

Трели, трели: Идолорес.

Ау! Кто, кто в... Аузлато?

Дзизнь крикнул бронзе на жалость.

И зов, чистый, долгий, бьющийся. Долзанеумирающий зов.

Бодро бренчит бойко бряцает бривка.

Монета шваркнулась. Часы чухнули.

Признания. Sоплез. Я мог. Отдачей подвязки. Тебя покинуть.

Шлеп.

Са cloche! Ляжке шлеп. Признания. Теплой. Прощай, милая!

Бреньк Блюю.

Бухая бомбардирующие аккорды. Когда любовь поглощает.

Война! Война!

Барабанн.

Парус! Веет платок вслед волнам.

Утрачено. Щебетал щегол. Сейчас все утрачено.

Рожок. Крыжовник.

Когда впервые он увидел. Увы!

Радтак. Радбой.

Рулады. О прелесть, прельщай!

Марта! Приди!

Хлопклоп. Хлюпхлоп. Хлипклоп.

Обоже онни когдавж изнине

Пот Пат промокашку принес

Театральный лунсвет: даль: даль.

Мне так грустно. P. S. Одиноким блюднем.

Чу!

Именедамине. Все ушло. Все пало.

Бронзидия у Миназлата.

За бронзой, за золотом, в океанской тени. Блюм. Старый блюм.

Его подагристые пальцы лязгали.

Большой Бенабен. Большой Бенбен.

Последняя Роза Кастилии лета плюмажем упавшим мне так грустно одному.

Где бронздали? Где вблизолота? Где копыта?

Тогда, только тогда. Моя эпфитапфи. Напфишшшутф.

Свершилось.

Начнем!

Бронза у золота головка мисс Дус у головки мисс Кеннеди сквозь жалюзи Ормонд-бара слышит несутся вицецоролевские копыта, звеня сталью.

— Это она? спросила мисс Кеннеди.

Мисс Дус сказала, она, сидит с его съяс, жемчужно-серая с eau de Nil.

— Восхитительный контраст, сказала мисс Кеннеди.

Вся на взводе мисс Дус сказала взволнованно:

— Глянь на этого в шелковом цилиндре.

— Кого? Где? спросило золото взволнованней.

— Во второй карете, сказали влажные уста мисс Дус, смеясь на солнце. Он смотрит. Погоди, дай глянуть.

Она метнулась, бронза, в заднейший закут, сплющила лицо о стекло в нимбе запаленного дыхания.

Ее влажные губы хихикнули:

— Поражен наповал, оглядывается.

Она рассмеялась:

— Хоть плачь! Ну, не идиоты ли мужчины!

С грустью.

Мисс Кеннеди грустно отбрела от яркого света, загибая вырвавшуюся прядь за ухо. Грустно бредя, отзолотев, она скрутила загнула прядь. Грустно она загнула выбредшую золотую прядь за изгибом уха.

— Ихнее дело одно удовольствие, грустно сказала она.

Мужчина.

Блюмон брел мимо мимо вольнок Муланга, нес в груди сладость греха, мимо антиквара Уайна, в памяти нес сладкие греховные слова, мимо стертой залузганной вывески Каррола, для Рауля.

К ним сапоги, к ним у бара, к девам бара пришел. Для них, невнимающих ему, шваркнул о стойку поднос с дребезжащим фарфором.

И

— Вот ваши чаи, сказал он.

Мисс Кеннеди церемонно переставила поднос вниз на вздыбленный ящик с нарзаном, подальше от взглядов, пониже.

— Это чо еще? громко сапоги бесцеремонно спросили.

— Догадайся, отпарировала мисс Дус, покидая свою наблюдательную вышку.

— Твой хахаль, небось?

Высокомерная бронза отразила:

— Я обращусь к миссис де Масси, если еще раз услышу ваши возмутительные дерзости.

— Возмутютю тютютю, сапорыло хрюкнуло грубо, отступая от ее угрозы от его поведения.

Цветик-блюдик.

На цветок свой нахмурясь сказала мисс Дус:

— Безумно раздражает этот юный выродок. Если он не будет вести себя как следует, я ему ухо на сажень вытану.

Как лэди в восхитительном контрасте.

— Не обращайтесь внимания, — мисс Кеннеди ответствовала.

Она налила чай в чайшку, затем обратно чай в чайник. Они сгрудились под утесом стойки, ждали на подножках, ящики на попу, ждали, пока заварится чай. Они лапали свои блузки, обе из черного бархата, два и девять за ярд, пока заварится чай, и два и семь. Да, бронздали, вблизилота слышит стаблизити, звон копыт вдали, слышит сталькопыт звонкопыт сталезвон.

— Я ужасно сгорела?

Мисс Бронза разблузила шею.

— Нет, сказала мисс Кеннеди. Потом потемнеет. Вы не пробовали борное мыло с лавровым настоем?

Мисс Дус привсталась искоса глянула на свою кожу в зеркале бара раззолубуквенном, где мерцали бокалы и фужеры, а посреди них — морская раковина.

— К рукам липнет, сказала она.

— Попробуйте с глицерином, посоветовала мисс Кеннеди.

Посылая своим плечам и рукам прощальный привет мисс Дус

— Только сыпь вскочит от таких штук, заметила и присела. Попросила я у этого старого хрыча в Бойде что-нибудь для моей кожи.

Мисс Кеннеди, разливая вполне натянувший чай, корчила рожицы и умоляла:

— О, не напоминайте мне о нем, Бога ради!

— Погоди, я сейчас расскажу о нем, звывала мисс Дус.

Сладость чая мисс Кеннеди разливая с молоком мизинчиками заткнула оба уха.

— О нет, не надо, вскричала она.

— Не хочу слышать, вскричала она.

Но Блюм?

Мисс Дус хмыкнула носовым голосом хрыча:

— Для вашей чего? говорит он.

Мисс Кеннеди откупорила уши слышать, говорить, но сказала, заклиная вновь:

— Не заставляйте меня думать о нем, а не то я испущу дух. Этот мерзкий старикашка! Той ночью в Антъенском концертном зале.

Она хлебнула с неудовольствием свой напиток, горячий чай, глоток сладкого чая.

— Тут он был, сказала мисс Дус, склоняя свою бронзовую голову на три четверти, раздувая ноздри. Уф! Уф!

Пронзительный взвизг смешка взмыл из горла мисс Кеннеди. Мисс Дус гневно выфыркнула раздутые ноздри, трубившие возмущение как охотничий клич.

— О! — взвигивая, мисс Кеннеди воскликнула. Как можно забыть этого пучеглаза?

Мисс Дус рассыпалась бронзовым перезвоном смеха, выкрикнула:

— И твой другой глаз!

Блючей темноглаз читал имя Аарона Фигаеса. Почему я всегда думаю Фигаеда? Фигоеда, в смысле, наверно. И гугенотское имя Проспера Лоре. Мимо блаженных дев Басси прошли темноглаза Блюма. Синепокровная, белая споднизу, приди ко мне. Бог, они верят, она: или богиня. У этих сегодня. Не разглядел я. Заговорил со мной. Студент. Потом с сыном Дедалуса. Наверно, это Маллиган. Все пригожие девицы. Это и возбуждает повес: ее белизна.

Мимо прошли его глаза. Сладость греха. Сладка сладость.

Греха.

В пересмешном перезвоне слились юные бронзолотые голоса, Дус с Кеннеди ее другим глазом. Закинули юные головы, бронза смех-злато, лъетечет стихихией смехаха, визг, и еще один, и знаки друг дружке, высокие пронзительные ноты.

Ах, отдышались, вздохнули. Вздохнули, ох, изнеможенное, стихло их ликование.

Мисс Кеннеди вновь пригубила свою чашу, взвила, глотнула и всхихихикнула. Мисс Дус вновь перегибаясь над подносом, вновь взъерошила ноздри и закатила зажиревшие задорные глаза. Вновь Кеннеди, склоняя дивные бельведеры своих кудрей, склоняясь, блестя черепаховой гребенкой на затылке, прыская чаем изо рта, захлебываясь от смеха и чая, кашляя и задыхаясь, восклицая:

— Ах, сальные глаза! Представь — быть замужем за таким мужчиной, воскликнула она. С его бородой кукишем!

Дус полнокровно испустила восхитительный вопль, полнокровный вопль полнокровной женщины, восторг, радость, возмущение.

— Замужем за сальным носом! завопила она.

Визг, грудной смех, бронзалотом, к перезвону за перезвоном звали они друг друга, звеня хохолочками по очереди, бронзолото, златбронза, глуховизг, смешок за смешком. А затем закатывались еще похлеще. Сальный понимаешь. Выдохшиеся, запыхавшиеся, своими трясущимися головами они поникли, в косах и бельведерах гребенок, к укосине бара. Раскрасневшиеся (O!), задыхаясь, потя (o!), перехватя дух.

Замужем за Блюмом, за сальсольблюмом.

— Клянусь всеми святыми! Мисс Дус сказала, вздыхая над своей скачущей розой. Лучше так не смеяться. Я вся взмокла.

— Ах, мисс Дус! запротестовала мисс Кеннеди. Ах, ужасное существо!

И заалелась еще больше (ах ужасная!) еще золотее.

Мимо дверей Кантвелла плыл Сальсольблум, мимо дев Сеппи, в сиянии их масел. Отец Нанетти торговал такими штуками вразнос, от двери к двери как я. Религия окупается. Спросить его насчет условий Кейса. Сначала есть. Хочу. Еще нет. В четыре, она сказала. Время бежит. Стрелки крутятся. Вперед. Где есть? Кларенс. Дельфин. Дальше. Для Рауля. Есть. Если заработаю пять гиней чистыми с этой рекламы. Шелковую сиреневую комбинацию. Нет еще. Сладость греха.

Разалелись меньше, еще меньше, золото побледнели.

Фланируя, в бар вошел м-р Дедалус. Сколь, сколь сколол со скалистых ногтей. Осколки. Фланирует.

— С возвращением, мисс Дус.

Он взял ее за руку. Хорошо прошел отпуск?

— Тип-топ.

Он надеялся что погода в Ростриворе была хорошей.

— Изумительной, сказала она. Посмотрите, каким чучелом я. Лежала на набережной день-деньской.

Белизна бронзы.

— Какое недостойное поведение, озорница, отчитал ее м-р Дедалус и жалую жал ее ладонь. Искушать нас, бедных простаков.

Бархатная мисс Дус, как дуся, отвела руку.

— Бросьте вы это, она сказала, нашелся простак, я не думаю.

Он нашелся.

— Что ж, я такой, рассудил он. Я выглядел таким простаком в колыбели, что меня окрестили Саймон-Простак.

— Это от слабоумия, отпарировала мисс Дус. Что вам сегодня доктор прописал?

— Что ж, он рассудил, что скажете. Я бы затруднил вас, попросив чистой воды и полстакана виски.

Бренчка.

— С превеликим рвением, согласилась мисс Дус.

С изяществом рвения к зеркалу с золотыми "Кантрелл и Кокрэйи" обратилась она. С изяществом отцедила она меру золотого виски из хрустального графина. Вовне из полы сюртука м-р Дедалус извлек кiset и трубку. Рвение она подала. Он продул сквозь дым два темных тона.

— Клянусь Юпитером, он рассудил. Мне всегда хотелось пови-
дать горы Морна. Воздух там должен бодрить весьма. Но, гово-
рят, кто долго ждет, дождетсЯ. Да, да.

Да. Пальцем засунул волосинки, ее девичьи волосы, девы моря, в чашку трубки. Скол. Влас. Рассудил. Стих.

Никто не сказал ничего. Да.

Бодро мисс Дус начищала стопку, выводЯ:

— О, Идолорес, краса восточных морей!

— М-р Лидуэлл заходил сегодня?

Внутри вступает Ленеган. Вкруг себя озирает Ленеган. М-р Блюм достиг Тассекского моста. Да-с, м-р Блюм пересек Дассекс. Марте надо написать. Купить бумагу. У Дэйли. Девушка там любезная. Блюм. Старый Блюм. Белый Блюм цветет в степи.

— Он был здесь в обед, мисс Дус сказала.

Ленеган выступил вперед.

— М-р Бойлан искал меня?

Он спросил. Она ответила:

— Мисс Кеннеди, м-р Бойлан заходил, пока я была наверху?

Она спросила. Мисс голос Кеннеди ответила, вторая чайшка за-
стыла, взор на листе.

— Нет. Не заходил.

Мисс взор Кеннеди, слышна не видна, читала дальше. Ленеган
вкруг звонка круглое тело обвил кругом.

— Ау! Кто, кто в уголочке живет?

Не наградила его взором Кеннеди, но он все же заигрывает.
Следи за точками. Только за черными: круглые о и витые и.

Бряк бренчит бричка.

Златдева читала и не взирала. Не обращай внимания. Она не обращала внимания, пока он сольфеджил ей басню, монотоня по складам:

— По-встре-чал аист ли-су. По-про-си-ла ли-са у аиста: за-сунь клюв мне в гор-ло и вы-та-щи кость.

Попусту талдычил. Мисс Дус обратилась к чаю, в сторону.

Он вздохнул, в сторону:

— О я! Ох уж!

Он приветствовал м-ра Дедалуса и получил кивок в ответ.

— Привет от прославленного сына прославленного отца.

— Кто это мог бы быть? м-р Дедалус спросил.

Ленеган наисердечнейшие руки развел. Кто?

— Кто это мог бы быть? он спросил. И вы спрашиваете? Стивен, сей младый бард.

Сухо.

М-р Дедалус, знаменитый боец, отложил свою сухо набитую трубку.

— Понятно, он сказал. Я не узнал его сначала. Я слышал, что он придерживается особо избранного общества. Видали ли вы его в последнее время?

Он видал.

— Я испил из нектарной чаши с ним прямо сегодня, сказал Ленеган. У Муни *en ville* и у Муни *sur mer*. Он получил чекушку за плод своих родильных мук.

Он улыбнулся омытым чаем губам бронзы, внимающим губам и глазам.

— Elite Эрина пила мед его уст. Весомый ведей Хью МакХью, самый блестящий щелкопер и редактор Дублина, и этот министрененок с дикого дождливого запада, известный под благозвучным наименованием О'Мадден Бурк.

После перерыва м-р Дедалус поднял свой грог и

— Это должно быть крайне развлекательно, сказал он. Представляю.

Он представлял. Он пил. Грустящим глазом в горные дали. Поставил свой стакан.

Он обратился к двери салуна.

— Итак, вы передвинули фортепяно.

— Сегодня приходил настройщик, ответствовала мисс Дус, на-

строил для концерта в курительной. Я никогда не слыхала такого восхитительного пианиста.

— Неужели?

— Не правда ли, мисс Кеннеди? Настоящая классическая, понимаете.

И еще слепой, бедняжка. И двадцати лет, клянусь, нету.

— Неужели? М-р Дедалус сказал.

Он выпил и отвалил.

— Так грустно глянуть на его лицо, пособолезновала мисс Дус. Божью кару сучьему выблядку.

Дзинь на ее жалость крикнул звонок едока. К двери столовой пришел лысый Пат, пришел потный Пат, пришел Пат, половой "Ормонда". Пива к обеду.

Пива без рвения она отпустила.

Терпеливо Ленеган ждал нетерпеливо Бойлана, брничкобренчащего Блэйзеса.

Подняв крышку он (кто?) уставился в гроб (гроб?) на витые тройные (фортепиано!) струны. Он жал (который жалюя жал ее ее ладонь) мягко и осторожно клавиши, следил за передвижением войлочных прокладок, слышал приглушенный удар молоточка о струну.

Два листа кремовой веленовой бумаги в запасе два конверта когда я был у Умм Гэйли умный Блюм у Дэйли Генри Флауэр купил. Ты несчастлив у себя дома? Цветик утешить меня, а булавка к лю. Что-то значит, язык цве. Вроде, маргаритка? К невинности. Пристойная девушка встретить после мессы. Превеликое вам спасибочко. Умный Блюм уставился на плакат на двери: дева моря курит, качаясь меж чудных волн. Кури "Девы моря", прохладнейшие сигарильи в мире. Волосы разметаны — страдает от любви. Для другого. Для Рауля. Он уставился и увидел в удаленьи на Тассекском мосту лихая шляпа несется, брничка бренчит, бряцает бодро. Вот он. В третий раз. Совпадение.

Бренча на упругих шинах, она пронеслась от моста к причалу "Ормонд". Следом. Рискни. Быстро. В четыре. Уже скоро. Выходи.

— Два пенса, сэ, рискнула вымолвить продавщица.

— Ага... Забылся... Простите...

И четыре.

В четыре она. Покоряюще она Блюему улыбнулась. Блю улы быс выш. Видания. Думаешь, только и свету что в окошке? Это она со всеми. Был бы мужик.

В сонном молчании золото склонилась над страницей.

Из салуна раздался зов, долгозамирал. Это был камертон настройщика, который тот забыл в который он сейчас ударил. Снова зов. Сейчас он сбалансировал то, что сейчас билось. Слышите? Бьется, чисто, чище, мягко, мягче, концы гудят. Дольше незамирающий зов.

Пат платил за отштопоренную бутылку едока: и над бокальным подносом и отштопоренной бутылкой допреж ухода шептался он, лысый и потный, с мисс Дус.

— *Звезды меркнут...*

Безголосая песня пелась изнутри, распевая:

— *...утро близко.*

Двадцать птиценот защебетали звонким дискантом под чуткой рукой. Звонко клавиши, сверкая, связано, клавикордя, зывали к голосу, чтобы пел росные зори, младость, разлуку, жизнь, зору любви.

...*Жемчужина росы...*

Губы Ленегана над стойкой тихо свистнули манком:

— Ты только посмотри, сказал он, Кастильская роза.

Бричка брякнула за поворотом и остановилась.

Она привстала, закрылась ее проза, кастильская роза, муки разлуки, грезы розы.

— Сама упала или ее столкнули? он спросил ее.

Она ответила пренебрежительно:

— Кто не спрашивает, тому и не соврут.

Как лэди, как люди.

Щегольские кожаные туфли Блейзеса Бойлана скрипели на полу бара, где он пронесся. Да, вблизилото у бронзиздали. Ленеган слышал и знал и окликнул его:

— Се победитель-герой вступает.

Меж коляской и окном чутким шагом шел Блюм, герой-непобеждитель. Увидит меня он. Стул он сидел: нагретый. Черный чуткий котяга шел навстречу портфелю Риччи Голдинга, ввысь взвил в салюте.

— *И я от тебя...*

— Слыхал я, что съездили, сказал Блейзес Бойлан.

Он прикоснулся пред прекрасной мисс Кеннеди к полям своей плетенки набекрень. Она улыбнулась ему. Но сестра-бронза перелыбила ее, распуская пред ним свои волосы попышнее, грудь и розу.

Зелья потребовал Бойлан.

— Каков ваш клич? Кружку горького? Кружку горького, будьте добры, и тернового джина мне. Пришли результаты?

Еще нет. В четыре они. Все сказали четыре.

Каули с красными ушами и адамовым яблоком в дверях участка. Избежать. Голдинг как раз. Что он делает в "Ормонде"? Бричка ждет. Ждет. Привет. Вы куда? Перекусить? И я тоже как. Сюда. Что, "Ормонд"? Лучшая еда за ваши деньги в Дублине. Неужели? Столовая. Сиди не рыпайся. Вижу, но не виден. Я, пожалуй, составлю вам компанию. Заходите. Риччи прокладывал путь. Блюм следовал за портфелем. Обед под стать принцу.

Мисс Дус потянулась вверх к графину, вытягивая бархатную руку, бюст чуть не вырвался, так высоко.

— О! О! дергался Ленеган, дыхание перехватывало с каждым по-тягом. О!

Но легко схватила она свою добычу и с триумфом повела вниз.

— Что б тебе не подрасти? спросил Пламенный Бойлан.

Бронзовая, уделяя из кувшина густую сиропную влагу для его уст, глянула на цветную струю (цветок в его петличке: кто дал ему?) и сиропным голоском:

— Мал золотник, да дорог.

Это в смьеле она. Чисто налила она терпкотекущий терн.

— А вот и казна, сказал Пламень.

Он шваркнул широкую монету об стол. Монета звякнула.

— Погоди, сказал Ленеган, пока я...

— Удачи, пожелал он, подымая пенистый эль.

— Бунчук трусцой победит, сказал он.

— Я рискнул чуток, сказал Бойлан, подмигнул и выпил. Не для себя, правда. Каприз приятельницы моей.

Ленеган все пил и хмылился в наклоненный эль и на миссдусины губы, в которых гудела, полуоткрытых, песнь моря трелью в губах. Идолорес. Восточных морей.

Часы всхлипнули. Мисс Кеннеди прошла мимо них (цветок, интересно, кто дал), унося поднос с чаем. Часы чухнули.

Мисс Дус взяла монету Бойлана, лихо трахнула по регистрам кассы. Касса лязгнула.

Часы чухнули. Прекрасная Египтянка разбирала и отбирала в кассе и гудела песнью и вручила монетки-сдачу. Обратись на запад. Щелк. Меня.

— Который час? спросил Пламень Бойлан. Четыре?

Часа.

Ленеган, маленькие глазки жадят ее гул, гулгуд ее бюста, дернул Бойлана за рукуав.

— Послушаем бой часов, сказал он.

Портфель Голдинг и Коллис и Варда вел Блюма меж белым блюмом цветущими столами в белом плюмаже. Не целясь он выбрал с цельным стремлением, лысый Пат оценил, столик у дверей. Поближе к. В четыре. Он позабыл? Или уловка? Не придет: разжигает аппетит. Я бы не смог. Повремени, повремени. Пат, половой, повременил.

Сверкающая бронзурь глядит на Пламенозурьи небесноголубые глаза и галстук.

— Ну, давай, ну! нажимал Ленеган. Никто и не. Он не слышал.

... — *поцелуй Флоры, сорвись.*

Ввысь, высокая нота, дискантовый перезвон, серебряный.

Бронздус сливаясь со своей розой волнующей позой, искала цвет и глаза Пламени Бойлана.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста.

Он умолял поверх наплывающих вновь фраз признания.

— *Я не мог тебя покинуть...*

— В дорогой раз, мисс Дус пообещала застенчиво.

— Нет, сейчас, настаивал Ленеган. *Sonnez la cloche!*

Пожалуйста! Никто не смотрит.

Она огляделась. Быстро. Мисс Кенн не услы. Резкий изгиб. Два горящих лица следили за ее изгибом.

Трелируя аккорды слетели с воздуха, отыскиали его снова, утраченный аккорд, потеряли, и нашли его, дрожа.

— Давай! Валяй! *Sonnez!*

Наклонясь, она щипнула складку юбки над коленом. Задержалась. Заводя их пуще, наклоняясь, замерла, с шальными глазами.

— *Sonnez!*

Шлеп. Она отпустила резкой отдачей щипок эластичной подвязки тепшлеп по шлепнутой женщины теплой ляжке.

— *La cloche!* — воскликнул ликуя Ленеган. Натаскана владельцем. Тут опилок не ищи.

Она ухмылыбнулась презрительно (хоть плачь! Ну не идиоты?), но скользя к свету, скользяще засветилась Бойлану.

— Вы — квинтэссенция пошлости, сказала скользя она.

Бойлан глазел, глазел. Склонил к жирным губам кубок, гло-

танул свой кубчик, засасывая последние жирные сиреневые сироповые капли. Его глаза, как заклятые, следовали за ее скользящей головой, когда та склонилась за стойкой у зеркал, позлащенной арки, сияющей бокалами для имбирного пива, вина и кларета, колючей раковины, где она играла, отражаясь, бронза с бронзой посолнечней. И да, бронзиздали.

... *Прощай, милая!*

— Я пошел, сказал Бойлан нетерпеливо.

Он двиганул кубок лихо прочь, хапнул сдачу.

— погоди с глоток, умолял Ленеган, быстро допивая. Я хотел тебе рассказать, Том Рошфорд.

— Гори ты синим пламенем, — сказал Пламенный Бойлан, уходя. Ленеган глотанул на выход.

— Рог заторчал или что? он сказал. погоди. Иду.

Он следовал за спешными скрипящими сапогами, но резво привстал у входа, привечая обличия, дородного и сухощавого.

— Здравствуйте, м-р Доллард!

— А? Здрась! Здрась! — рассеянный бас Бена Долларда ответствовал, отвлекаясь на миг от горестей отца Каули. Он тебя не побеспокоит, Боб. Альф Берган замолвит словечко Долгому. Мы еще вкатим этому Иуде Искарриоту соломину в ухо.

Вздыхая, м-р Дедалус прошел сквозь салон, мизинцем теша веко.

— Хехе, непременно, пребодро затрурулил Бен Доллард. А ну, Саймон, выдай мотивчик. Мы слышали пианино.

Лысый Пат, потный половой ждал заказа, "Пауэр" для Риччи. А Блюму? погодите. Чтобы два раза не гонять. Мозоли. Уже четьре. Как нагрет черный. Ну и нервишки. Отражает (так ли?) жар. погодите. Сидр. Да, бутылку сидра.

— С чего бы? м-р Дедалус сказал. Я просто бренчал, Бен.

— Давай, давай, Бен Доллард кликнул. Прощай, тоска заботы. Пошли, Боб.

Он гарцует Доллард, дородные клеши, перед ними (держи этого с: хватай его) в салон. Он бухнулзадом Доллард о табурет. Подагрические клешни бухнули по клавишам. Бухие резко застыли.

Половой Пат в проходе встретил бесчайное золото воротилось. Потный спросил он "Пауэр" и сидра. Бронза у окна следила, бронздалека.

Бряк бренчала бричка.

Блюм слышал бум, легкий шум. Уехал. Легкий всхлип выдохнул Блюм на безмолвный плюмаж блюда цветов. Бренчание. Уехал. Бряк. Слушай.

— Любовь и война, Бен, сказал м-р Дедалус. Помянем добром старину.

Отважные глаза мисс Дус, незамеченные, обратились от перекрестных жалюзей, пораженные солнцесветом. Удрученная (кто знает?), пораженная (разящим светом) она опустила навес скользнувшим шнуром. Она бросила удрученно (почему он так быстро ушел, когда я?) вокруг своей бронзы на стойку бара, где стоял половой с сестрой золотой в неизысканном контрасте, контрасте неизысканном, неизысканном, тяжкую хладную мрачную морезеленую скользящую глубь тени eau de Nil.

— Бедняга Гудвин был тогда тапером, напомнил им отец Каули. Было небольшое разногласие между ним и его "Коллард" роялем. Таки было.

— Вел симпозиум в одиночку, м-р Дедалус сказал. Такого и чорт не остановит. Чудаковатый старикан в первичной стадии опьянения.

— Господи, помнишь? Бен бух Доллард сказал, отворачиваясь от наказанной клавиатуры. Клянусь Яперсом, у меня и свадебного костюма не было.

Они рассмеялись втроем. Свад нет. Все трио рассмеялось. Свадебного костюма нет.

— Дружище Блюм подвернулся вовремя в ту ночь, м-р Дедалус сказал. Где моя трубка, к слову?

Он побрел обратно к бару к утраченной аккортрубке. Потный Пат нес двум едокам запить, Риччи и Польди. И отец Каули рассмеялся снова.

— Я спас положение, Бен, по-моему.

— Именно, свидетельствовал Бен Доллард. Я помню эти тесные панталоны. Блестящая идея, Боб.

Отец Каули заалел до блестящих пурпурных мочек. Он спас поло. Тесные пан. Блестя иде.

— Я слышал, что он на мели, он сказал. Жена аккомпанировала в кафе "Палас" по субботам за мелкую мзду. И кто это подсказал мне, что она держит этот промысел? Помните? Пришлось искать где они живут вдоль по всей улице Холлес, пока паренек из Кью не сказал, в каком номере. Помните?

Бен помнил, его бодрая будка будировала.

— Господи, какие были у нее роскошные оперные плащи и прочая бутафория.

М-р Дедалус брел обратно, трубка в руке.

— Стиль а-ля площадь Меррион. Бальные наряды, о Господи, придворные туалеты. И денег брать не хотел. Что? Сколько душе угодно широкополых шляп и болеро и мишуры, ей-Богу. Что?

— Ага, ага, кивнул м-р Дедалус. Миссис Марион Блум снимает одеяния всех сортов.

Бреньканье бряцало по причалам. Блейзес неся на тугих шинах. Печень с ветчиной. Пирог с мясом и почками. Есть, сэр. Есть, Пат.

Миссис Марион мадам Псих Оз. Что-то горит Пауль Ван Хер. Славное имечко у.

— Как ее звали? Грудастая деваха. Марион...

— Твиди.

— Да. Все еще жива?

— И здорова.

— Она дочь...

— Дочь полка.

— Да, в Бога и мать, я помню старого тамбурмажора.

М-р Дедалус чиркнул, шаркнул, зажег, вдоволь затянулся потом.

— Ирландка? Не знаю, Богом клянусь. Как она, Саймон?

Затянулся потом прижал, затяжка, крепкая, насыщающая, потрескивающая.

— Мой щечный мускул... того... заржавел... ага, вот... она? Ирландочка Молли моя, о.

Он выпустил едкую плюмажную струю.

— С Гибралтарского утеса... ни ближе, ни дальше.

Они толпились вглуби океанской тени, золото близ пивнасоса, бронза у мараскино, задумчивы обе две, Мина Кеннеди, Лисмер террас № 4, Драмкондра с Идолорес, королева, Долорес, безмолвствует.

Пат подал раскрытые блюда. Леопольд ел разрезанную печень. Как указывалось выше, он ел с наслаждением требуху, птичьи желудочки, жареные молоки трески, тем временем Риччи Голдинг, Коллинс и Уорд ел мясо с почками, мясо затем почки, кус за кусом от пирога он ел Блум ел они ели.

Блум с Голдингом, обрученные молчанием, ели. Обеды под стать принцу.

По Холостяцкому переулку бреньбренькая бричковал на блядки бойкий Блейзес Бойлан, холостяк, на солнце, на взводе, лоснящийся круп кобылы галопом, взмахом хлыста, на несущихся шинах, развалившийся, пригревшийся Бойлан Нетерпеливый, страстнопламенный. Рожок. Заторчал? Рог. Заторчал? Тру-ру-жок.

Покрывая из голоса Доллард барабанил в бой, бухая над бомбардирующими аккордами:

— *Когда любовь охватит мою страстную душу...*

Вал Бендушабенджамена наваливался на дрожащие изнемогающие от любви стекла в крышном переплете.

— Война! Война! вскричал отец Каули. Ты — воин.

— Да, я такой, рассмеялся Бен Воин. Я думал о твоём домохозяйине. Любовь или кошелек.

Он остановился. Он потряхнул огромной бородой, огромный лик над его кретинизмом огромным.

— Точно, ты бы сломал ей барабанную плеву в ухе, приятель, м-р Дедалус сказал сквозь дымный аромат, с твоим-то прибором.

В брадатом изобильном смехе Доллард затрясся над клавишами. Сломал бы.

— Не говоря уж о другой плеве, добавил отец Каули. Сбавь темп, Бен. *Allegro ma non troppo*. Дай-ка мне.

Мисс Кеннеди подала двум джентльменам кружки с холодным элем. Они обронила реплику. Действительно, сказал первый джентльмен, прекрасная погода. Они пили прохладный эль. Знает ли она, куда отправился вице-король? И слышала сталькопыт звонкопыт сталезвон. Нет, она, к сожалению, не знала. Но можно посмотреть в газете. Ах, не стоит беспокоиться. Никакого беспокойства. Она взобвилась раскоряченным "Независимым", искала, вице король, бельведеры ее кудрей покачивались, вице ко. Слишком много беспокойства, сказал первый джентльмен. О ничуть. Как он глянул на. Вице король. Бронзолотом слышит стальбулат.

— *... Мою страстную душу*

Нипочем мне день завтрашний.

В печеночном соусе Блюм растер тертую картошку. Любовь и война кого-то. Коронный номер Бен Долларда. Вечером, когда он прибежал к нам за костюмом. Для какого-то концерта. Панталоны в обтяжку, как кожа на барабане. Музсосиски. Молли обхохоталась, когда он ушел. Бросилась поперек постели и ну верещать и сучить ногами. Все добро его на виду. Ох, клянусь

всеми святыми, я ажно взмокла! Ох, женщины в первом ряду! Ох, я никогда так не смеялась! Ну, конечно, это и дает ему бас барантон. Например евнухи. Интересно, кто играет. Легкая рука. Должно быть, Каули. Музыкален. Знает, какая нота написана. Изо рта прет, бедняга. Перестал.

Мисс Дус, увлекающая, Лидия Дус, поклонилась учтивому поверенному Джорджу Лидуэллу, джентльмену, входящему. Добрый день. Она вверила свою влажную, как у леди, руку его крепкому пожатю. Да, она вернулась. К той же дребедени.

— Ваши друзья внутри, м-р Лидуэлл.

М-р Лидуэлл, учтивый, уверенный, держал лидиладонь.

Блюм ел печ как излож выше. По крайней мере здесь чисто. Этот тип у "Буртона" с резинкой. Здесь никого: Голдинг и я. Чистые столы, цветы, митры салфеток. Пат туда-сюда, половой Пат. Нечего делать. Лучшая за ваши деньги в Дуб.

Снова ф-но. Точно, Каули. Как он присаживается к нему, как будто они вместе, взаимопонимание. Нудные лабухи скребут скрипки, глаза на смычке, пилят виолончель, напоминая зубную боль. Ее высокий затяжной храп. Вечером мы сидели в ложе. Тромбон поддувает, как морж между актами, другой трубач вытряхивает слюну, свинтив мундштук. Ноги дирижера тоже клещи мешками бряк бряк. Правильно делает, что прячет их.

Бряк бряк брячка бренчит бойко.

Только арфа. Лучится золотым восхитительным светом. Девушка касается ее. Корма восхитительной. Соус неплох под статью при. Золотая ладья. Эрин. Арфа раз и другой. Прохладные руки. Пик Бен Хоут, рододендроны. Мы их арфы. Я. Он. Стар. Молод.

— Нет, я не вытяну, дружище, м-р Дедалус сказал скромно, неохотно.

Настойчиво.

— Давай, чтоб тебя разразило, заревел Бен Доллард. Пушай вылазит хоть по кусочкам.

— М' арраги, Саймон, отец Каули сказал.

К намостию прошествовал он немногими шагами, суровый, возносящийся в печали, долгие длани простерты. Хрипло кадык его глотки мягко прохрипел. Мягко пел он пыльной марине "Последнее прости". Мыс, судно, парус над стремниной. Прости. Очаровательная девушка, ее платок развевается под ветром на мысу, ветер вокруг ее.

Каули пел:

— *M' appari tutt amor:*

Il mio sguardo l'incontr...

Она махнула, не внимая Каули, платком уходящему в море, любимому, ветер, любовь, поспевающий парус, возврат.

— Продолжай, Саймон.

— Ах, отплясал я уже свое, Бен... ну...

М-р Дедалус упокоил трубку возле камертона и, сев, коснулся послушных клавиш.

— Нет, Саймон, отец Каули повернулся. Играй как положено. В бемоль. Клавиши, послушные, взвились, раскрылись, сбились, признались, растерялись.

— Сейчас, Саймон. Я саккомпанирую, сказал он. Вставай.

Мимо ананасной горы Грэхема Лимона, мимо слона Элвери бричка бряцала. Мясо, почки, печень, пюре, трапеза под стать принципам сидели принцы Блюм и Голдинг. Принцы за трапезой они подняли и выпили "Пауэр" и сидр.

Самая восхитительная ария для тенора, которую когда-либо сочинили, сказал Риччи: *Somnambula*. Он слышал. Джо Маас пел это однажды. Ах, этот Мак Гакин! Да. На свой манер. Как мальчик на клиросе. Маас был мальчиком. На мессе. Лирический тенор, если вам угодно. Никогда не забуду этого. Никогда.

Пекущийся Блюм над беспеченной ветчиной видел сжавшиеся черты напряглись. Поясница у. Супочек из почек. Следующим номером нашей программы. Сколько в дудочку ни дуй. Пилюли, диетические хлебцы, гинею за коробку. Все же отсрочка. И поет тоже: "Там среди мертвецов". Подходит по смыслу. Пирог с почками. Сладость. Радости в этом мало. Лучшая еда за. Похоже на него. "Пауэр". Пьет с разбором. стакан с изъяном, свежая вода "Вартри". Лямзит спички со стойки, чтобы сэкономить. Затем разбазарит суверен на дребедень. А когда нужно — ни копыя. Схлопотал отказался заплатить извозчику. Забавные типы. Никогда не забудет Риччи этого вечера. До гробовой доски не забудет. Среди кумиров старого Королевского театра с Малюткой Пиком. И когда первая нота.

Речь застыла на Риччиных устах.

Сейчас выдаст небылицу. Рапсодии с любым гарниром. Верит собственной лжи. Правда, верит. Чудный лгун. Но память подкачивает.

— О какой арии идет речь? спросил Леопольд Блюм.

— "Все утрачено".

Риччи надул губы. Низкой вводной нотой милый леший ухнул все. Дрозд. Жаворонок. Его дыхание птицесладости, хорошие зубы, предмет гордости, засвистали со щемящей тоской. Утрачено. Речи Риччи. Две ноты сразу. Черного дрозда я слышал среди кустов крыжовника. Подхватывая мои мотивы, он перепевал и переименовывал их. Все вновь зов утрачен все. Эхо. Сладость ответа. Как это делается? Сейчас все утрачено. Сетуя он высвистел. Пала, сдалась, утрачена.

Блюм прямил леопольдовым ухом, выпрямил складку салфетки под блюдом. Порядок. Да, я помню. Чудесная ария. Со сна она пришла к нему. Невинность под луной. Все же удержал ее. Смелые, не понимают опасности. Окликнул по имени. Коснулся воды. Бренчит бричка. Слишком поздно. Стремилась уйти. Вот почему. Женщина. Легче остановить море. Да: все утрачено.

— Прекрасная ария, сказал Блюм утративший Леопольд. Я ее хорошо знаю.

Никогда в жизни не испытал Риччи Голдинг.

Он тоже хорошо ее знает. Или чувствует. Все время наигрывает на своей дочери. Мудра детка, знающая своего отца, сказал Дедалус. Меня? Блюм искоса над беспеченной видел. Лицо всего утраченного. Риччи хват когда-то. Шутки старые заплесневели сейчас. Поводит ухом. Кольцо от салфеток вместо моногля. Сейчас шлет сына с просьбами о помощи. Косой Уолтер, сэр, исполнил, сэр, не беспокоил бы, сэр, но я ожидал поступления денег. Примите извинения.

Снова ф-но. Звучит лучше, чем в прошлый раз. Настроили, наверно. Снова прекратили.

Доллард и Каули все призывали певца не телиться и давать валять.

— Давай валяй, Саймон.

— Давай, Саймон.

— Лэди и джентльмены, я глубоко тронут вашими снисходительными настояниями.

— Давай, Саймон.

— Не богат я казной, но коль скоро вы уделите мне толику времени, я спою вам о сокрушенном сердце.

У сэндвич-гонга в жалюзийной тени Лидия бронзу и розу с грацией лэди дала и удержала: как в прохладной лягушачьей eau de Nil Мина к кружкам два своих золотых бельведера.

Наигрывающие аккорды прелюдии стихли. Аккорд затянутый, ожидающий, потащил за собой голос.

— *Когда я увидел впервые этот чарующий облик*

Риччи обернулся.

— Голос Сай Дедалуса, он сказал.

Запрокинувшись мозгами, румянец пылает на щеке, они внимали, как облекает чарующей волной кожу члены сердце душу хребет. Блюм дал знак Пату, потный Пат — половой тугой на ухо, отворить бародверь. Бародверь. Так. Достаточно. Пат, половой, прилипал, песне внимая, затем, что туг на ухо, у двери.

— *Казалось, кручина покинула меня*

Сквозь гул воздуха голос пел им, низок, не дождь, не шуршащие листья, несходен с голосом струнных, духовых, язычковых или какихтам цимбалов, касался их смолкших ушей словами, смолкших сердец их каждого его запомненных жизней. Хорошо, хорошо слушать: кручина их обоих каждого из них казалось покинула когда сперва они услышали. Когда сперва они увидели, утраченный Риччи, Польди, милость красы, услышали от человека, никогда на свете не ожидали бы, ее милосердное любобягкое многолюбое слово.

Любовь поет: любви давняя щемящая песнь. Блюм смотал медленно эластиковую резинку со своего пакета. Любви давняя щемящая злато. Блюм намотал бухту вокруг четырех вилок, растянул ослабил пальцы и намотал вокруг вдвое, сам-треть, *in octavo*, затянул свой озабоченный натуго.

— *Полон надежд и весь в восхищении...*

Тенорам бабы достаются октавами. Увеличивает их выход. К ногам его бросить цветок когда увидаться б ты смог? Мне совсем вскружили. Бренчание весь в восхищении. Цилиндрам ему не петь. Вам совсем вскружили голову. Надушена для него. Какие духи у вашей жены? Я хочу знать. Бряк. Стоп. Стук. Последний взгляд в зеркало всегда перед тем, как она откроет дверь. Передняя. Там? Здрасс? Здравствую. Там. Что? Или? Мятные драже, поцелуйные конфеты в ее сумочке. Да? И руки схватились за роскошные.

Увы! Голос взмыл, вздохнул, измененный: громок, полон, сияет, горд.

— *Но увы, пустые грезы...*

Дивный тон у него все еще. Воздух Корка и выговор ихний мягче. Дурак! Мог бы загребать ведрами. Поет не те слова. Жену

уморил: теперь поет. Но трудно сказать. Только они сами. Если не расколется. Прибереги свое хиляние для набережной. Руки и ноги тоже поют. Пьет. Нервы натянуты. Надо быть трезвенником: пой, не пей. Суп Дженни Линд: отвар, шалфей, сырые яйца, полпинты сливок. Сливки для славы. Нежностью он тек: ток, тихо. Забился вовсю. Вот это дело. А ну, давай! хватай! Бой, биение, бьющийся гордо стоящий.

Слова? Музыка? Нет, то, что за ними.

Блюм спетлил, распетлил, заузлил, отузлил.

Блюм. Потоп горячечной чмокчмок подсосекретности втекал в музыкауизнее, в страсти, мрак, сосипоток, вторгаясь. Трогать ее, тереть ее, туркать ее, трахать ее. Так. Поры на расшир расширяются. Так. Счастье чую жар и. Так. Хлынуть через плотины перехлестывающей лавиной. Потоп, лавина, поток, радбой, такпласк. Счас! Язык любви.

...Луч надежды...

Сияет. Лидия Лидуэллу писк еле слыш так по лэдину муза отпискнула луч надежды.

"Марта" это. Совпадение. Как раз собирался написать. Песня Лионеля. Красивое имя у вас. Не могу продолжать. Примите мой скромный пода. Играй на струнах ее души, кошелька тоже. Она — . Я назвала тебя шалунишкой. И все же имя — Марта. Как странно! Сегодня.

Голос Лионеля вернулся, притихший, но не усталый. Он вновь пел Риччи Польди Лидии Лидуэллу также пел Пату раскрыт рот ухо слуга служить готов. Как впервые он увидел этот чарующий облик, как кручина, казалось, покинула его, как взгляд, облик, слово околдовало его Голда Лидуэлла, пленило сердце Пата Блюма.

Жаль, что лица не видно. Лучше понимаешь. Почему парикмахер у *"Драго"* всегда смотрит мне в лицо когда я говорю его лицу в зеркале. Все ж здесь лучше слышно, чем в баре, хоть и дальше.

— И твой прелестный взгляд...

Первый вечер когда я впервые увидел ее у Матта Диллона в Теренуре. Желтое, черные кружева она одела. *"Музыкальные стулья"*. Мы двое последние. Судьба. За ней. Судьба. Вокруг кружили медленно. Быстро вокруг. Мы двое. Все смотрели. Стоп. Села она. Все вылетевшие смотрели. Губы смеются. Колени желтеют.

— Околдовал мой взор...

Пели. "Ожидание" она спела. Я листал ей ноты. Полный голос духов какие духи у вашей сирени. Грудь я видел, обе полные, в горле рулады. Впервые я увидел. Она поблагодарила меня. Почему она за меня? Судьба. Испанистые глаза. Под яблоней одни патю такой час в старом Мадриде край в тени Долорес тыдолорес. На меня. О прелесть, прельщай!

— *Марта! О Марта!*

Страхивая слабость вскричал Лионель в горе, криком страсти господствующей, любить вернуться с углубляющими и все же возрастающими аккордами гармонии. Сирым Лионелем вскричал, она должна узнать, должна Марта ощутить. Только ее он ждал. Где? Тут там глянь тут там глянь где. Где-то.

— *При-ди, утраченная!*

При-ди, любимая!

Одинок. Одна любовь. Одна надежда. Одна утешит меня. Марта, каштон, вернись.

— *При-ди*

Она взмыла, птица, удержалась в выси, чистый быстрый клик, взмыла серебряной державой сиренево взвилась, скорее, выше, и затягивает, слишком долго, долгое дыхание он дыхание долго жизнь, взмывает вверх, в сверкании, в языках огня, в короне, на эфирное лоно, ввысь, в высокое всеобщее свечение всюду, все взмывает все вокруг обо всем, бесконечностьконечностьконечность.

— *Ко мне!*

Сайопольд!

Свершилось.

Давай. Хорошо спето. Все хлопали. Она непременно. Придет. Ко мне, к нему, к ней, к вам тоже, мне, нам.

— Браво! Хлопхлоп. Молодчага, Саймон. Хлопихлопихлоп. Бис! Хлопхлюпхлоп. Бис! Бес! сказал, кричали, хлопали все, Бен Доллард, Лидия Дус, Джордж Лидуэлл, Пат, Мина, два джентльмена с двумя кружками, Каули, первый джент с кружом и бронзовая мисс Дус и золотая мисс Мина.

Примечания переводчика

eau de Nil — оттенок зеленого.

Вольнки Муланга и т. д. — названия магазинов, мимо которых идет Блюм.

Сладость греха (СГ) — эротическая книжка, которую Блюм купил по заказу жены Молли. Он наугад прочел в ней одну фразу — о любовнике Рауле, во имя которого героиня тратила все деньги своего мужа.

Для Рауля — из “СГ”.

Нанетти — начальник Блюма, его отец торговал иконами вразнос.

Бренчка — бренчит бричка, на которой Блейзес Бойлан едет в дом Блюма на свидание с Молли, назначенное на четыре часа дня.

Марта — от нее Блюм получил письмо этим утром. Она ответила на его объявление в газете, подписанное Генри Флауэром.

Булавка к любви — английская примета.

Ты несчастлив и т. д. — из письма Марты.

Результаты — бегов, на которых Блейзес поставил для Молли на Бунчука — фаворита. Ожидая результатов, Блейзес задерживается в баре.

Sonnez la cloche — бой часов. Коронный номер мисс Дус — шлепнуть себя резинкой-подвязкой по ляжке, изображая бой часов.

Мадам Псих Оз — так Молли произнесла утром слово метемпсихоз.

Пауль Ван Хер — слова Молии утром, но дополнительная ассоциация с триппером (печет, жжет).

“Прекрасная Египтянка... обернись на запад и ищи меня” — из арии.

Сэмюэл Беккет

ПРОЗА ЗА ТАК

Внезапно, нет, наконец, в конце концов, я больше не мог, я больше не мог идти. Кто-то сказал, ты не можешь оставаться здесь, я не мог оставаться здесь, и не мог идти дальше. Я опишу местность, это неважно. Вершина, очень плоская, горы, нет, холма, но такая дикая, такая дикая, ну ладно. Топь, вереск по колено, заросшая овечья стежка, ложбины, глубоко промытые дождями. Глубоко внизу в одной из ложбин я лежал, укрывшись от ветра. Дивный вид, если бы не туман, зачеркнувший все — долины, озера, равнину и море. Как я смогу идти, не стоило и начинать, нет, я должен был начать. Кто-то сказал, может быть, тот же голос, что потянуло тебя сюда? Я мог остаться в своей берлоге, уютно, сухо, нет, я не мог. Попросту я не мог ничего больше, это тебе только кажется. Я говорю своему телу, а теперь вставай, и я ощущаю, как оно борется, как старая кляча, стынувшая на улице, уже не борется, борется снова, пока не сдастся. Я говорю голове, брось, затихни, она перестает дышать, затем пыхтит еще хуже прежнего. Я вдалеке от этой свары, меня это не трогает, мне ничего не надо, не надо идти, не надо оставаться, это все одно для меня, уйти от всего, от тела, перестанут, не могу, ведь и я тогда перестану. Ах, да, нас, вроде больше чем один, все глухие, разношерстные, собранные вместе — пожизненно. Другой сказал, или тот же, или первый, у них у всех

тот же голос, те же мысли, а надо было оставаться дома. Дома. Они хотят, чтобы я ушел домой. Мое местожительство. Если бы не туман, были бы хорошие глаза, да телескоп, я бы увидел его отсюда. Это не просто усталость, не то что я просто устал, не смотря на подъем. И не то чтобы я хотел оставаться здесь. Я слышал рассказы, я наверно слышал рассказы об этих местах, дальнее море, цвета кованого свинца, столь воспетый золотой дол, глубокие ложбины, северные озера, город в дымке, они у всех на устах. Но кто эти люди? Поднялись ли они вслед за мной, передо мной, вместе со мной? Я здесь, в норе, вырытой веками, веками скверной погоды, лицом к темной земле, пропитанной крадущейся шафрановой влагой, которую она тихо пьет. Они наверху, вокруг меня, как на кладбище. Я не могу поднять глаз, какая жалость, я не увижу их лиц; их ноги, может, утонули в вереске. Видят ли они меня? Что они могут увидеть? Может, никого уже не осталось, может, они ушли. Им опротивело. Я прислушиваюсь и слышу те же мысли, в смысле, как всегда, странно. Подумать только, что в долине сияет солнце вниз с волокнистого неба. Как долго я был здесь, ну и вопрос, я часто задумывался, и часто отвечал — час, месяц, год, век, смотря что я имею в виду под словом “здесь” и под “я”, и под “был”, и я никогда не искал необычных значений, и “я” особенно не менялось, только “здесь”, иногда вроде бы менялось. Или я говорил, я не мог быть здесь долго, я бы не выдержал. Я слышу крики выпы, значит, конец дня, наступает ночь, такая уж она — выпь, весь день молчит, затем кричит, когда тьма сгущается, такие уж они, эти дикие твари, и такие недолговечные, в отличие от меня. И тот другой вопрос мне тоже хорошо знаком, что потянуло тебя сюда, на него никак не ответишь, и я отвечал: изменить, или, это не меня, или случай, или еще — увидеть, или еще — годы великого солнца, судьбы, я чувствовал его приближение, пусть приходит, меня он не захватит врасплох. Все — шум, нескончаемое хлюпанье черного промокшего торфа, прилив гигантских папоротников, вересковые бухты тишины, где тонет ветер, и моя жизнь, и ее старые напевы. Переменить, увидеть, нет, больше нечего смотреть, я видел все, пока не поблекли мои глаза, и от беды не уйти, беда уже стряслась, однажды беда стряслась, однажды ноги понесли. меня своим путем, вот что привело меня сюда. Что я делаю, важнее всего, вдыхаю и выдыхаю и говорю, слова как дым, я не могу идти, я не могу оставаться, посмотрим, что будет. Терпеливо выжидающий го-

лодный глаз на изнеможенном лице стервятника, может, пришло время падали. Я там, наверху, и я здесь, внизу, скрючившись под моим взором, стыну, глаза закрыты, ухо прижато к хлюпающему торфу, у нас один ум, у всех один ум, мы без ума друг от друга, нам жаль друг друга, но мы ничем не можем помочь друг другу. Я принял себя за мертвого, от голода, от старости, убит, утонул, или без причины, от скуки, а затем комнаты, естественная смерть, укрывшись одеялом, успокоенный богами очага, и вечное бормотание, все то же бормотание, те же рассказы, те же вопросы, и ответы. Нет во мне злобы ни на грош, аз неразумен, прах есмь, ни словом не обижу, не такой уж дурак, или забылось? Да, под конец, всегда бормоча, чтобы убаюкать меня и не оставлять одного, и всегда слушать старые байки, когда отец сажал меня на колено и читал мне рассказ о Джо Бриме или Брине, сына смотрителя маяка, каждый вечер, всю долгую зиму напролет. Байка, детская байка, дело происходит на скале, в бурю, его мать умерла, и чайки бились в луче маяка, и Джо прыгнул в море, вот и все, что я помню, с ножом в зубах, сделал все, что надо было сделать, и вернулся домой, вот и все, что я помню, счастливый конец, начиналось несчастливо, а кончалось счастливо, каждый вечер, забава, для ребят. Да, я был мой отец и я был мой сын, и я задавал себе вопросы и отвечал, как мог, я слышал тот же рассказ, каждый вечер, все тот же рассказ, который я знал наизусть, и не мог поверить, или мы гуляли вместе, рука в руке, молчаливые, погружены в свои миры, каждый в своем мире, руки забыты в руках друг друга. Вот почему я выдержал до сих пор. И сейчас это снова помогает, я в своих объятиях, держу себя в объятиях, без особой нежности, но надежно. А сейчас усни, как под старинной лампой, сложившись вдвое, уставший — так много говорил, так много слушал, так много было труда и игры.

Перевел с английского Израиль Шамир

ПОЭЗИЯ

Юрий Кублановский

ИЗ ЦИКЛА "ПЕСНИ ВЕНСКОГО КАРАНТИНА" *

* * *

Рыжий сеттер меж бурых стволов
пробегаёт, листвою шурша.
В рыжизне своей даже лилов,
он за дичью нырнуть бы готов,
да уж больно она хороша:
— утки, селезни, лебедь с своей
шелкокрылой подругой... А мне
вспоминать до скончания дней
лишь пиявку на илистом дне
с камышами сухими над ней.

Из Европы Тургенев Иван
было ездил охотиться к нам.
А теперь только водку в карман,
да пугну воробьев, как поддам,
чтоб кончали пищать, дураки.
Если в жилах живая вода
вроде той, что из Леты-реки,
разве долг наш путь — в никуда?

Потому, знать, теперь и пора
не ворон по кладбищам считать,
а бессонно с утра до утра
сказки Венского леса читать,
где по гладким осенним прудам
проплывает несметная дичь...
И всю жизнь по чужим городам
свою память, где резать, где стричь.

9. 12. 82

* К выходу книги "С последним солнцем" в парижском издательстве "La Presse Libre".

* * *

Неужели однажды одна
ты поедешь когда-нибудь в Крым?
Утром древнее золото со дна
там всплывает под солнцем седым.

Но недаром стаканчик вина
виноградником пахнет больным.

Нет, о том и мечтать перестань!
Не гулять тебе там налегке,
где, однажды захав в Тамань,
Михаил охромел в челноке.

Духарись, моя тень, горлопань
в глинобитном ночном тупике!

А когда ты пойдешь винтовой
узкой улочкой Ялты опять,
будет ветвь над твоей головой
непотребная пальма качать.

И курортник в футболке с женой
вдруг начнут друг на друга кричать.

Нет — не надо ни дрока, ни роз,
ни смывающей гальку волны,
фиолетовой — там, где Форос,
и жемчужной — в начале весны.

Я могу перейти от угроз
прямо в самые крепкие сны!

9. 12. 82

К ГЕРМАНИИ

Мне видится Мюнхен бесслезный,
летящая Рейна волна,
весь мрамор его кровеносный,
где каждая жила полна
обманчивой жизнью без цели,
ну разве среди позолот
разросшейся ввысь капители
какой воробышка всплакнет.

Мне видится мрамор германский,
вражда у левачки в глазах,
и череп ее арестантский,
и с плеч соскользающий — ах,
платок с золотой канителью.
Германия, что мне твоя
земля, рассеченная с целью
коварной — на два бытия?

Видать, из пригубленной чаши
есть таинство в винах льняных,
раз лучшие мальчики наши,
хмелея от лекций твоих,
в дремучие рощи сырые
и черную степь без конца
везли не карманы пустые,
— разбитые в спешке сердца.

Зимую, когда не отличен
от барина нищий вотще,
и ветер, то хрипел, то зычен,
высвистывал дырку в хряще
сколь метко Всемирного Духа
вливала ты нам белену
в от холода красное ухо
по капле — одной за одну!

... В невиданной каске блестящей,
с махрой в ницшеанских усах,
у самого сердца стоящей,
считай, на почетных часах,
зачем тебе было, могучей,
трезорку дразнить в конуре
— чтоб ныне с проводкой колючей
лежать в рассеченном нутре?

17. 12. 82

* * *

Смерть, трепет естества и страх!
Державин

Из тьмы тутавской, египетского плена
я выскользнул зачем?
Мне все равно куда мои идут колена,
раз сердцем чувствую — что тщетно билась пена
о твердь небесных тем,
и перилась, и расползалась,
не зная почему.
Единственное уцелело — жалость,
и та не долее под сердцем удержалась,
чем белые в Крыму.

Спиной к грядущему с невидимого краю
присядь на солнышке, насыпь в лоскут махры...
Пусть чайки вольные вверху визгливо бают,
и ветер тянет за вихры,
учительствуя безнадежно,
захлебываясь вдалеке...
Мне б в камни — всем лицом. Постыдно, если нежно
в ночи щеке.

9. 12. 82

Александр Лайко

ИЗ АНАПСКИХ СТРОФ

Не мед, но пот — и по усам,
дурею от жары, не знаю сам
зачем я, заплутав, сижу здесь дотемна,
смущаю прах ваш, Евдокия Павловна,
зачем речь сбивчивая к вам обращена, —

ряд или бред бессвязных сцен
эпохи социальных перемен,
хмелившей более, чем белое “Мицне”
и стольких воробьев проведшей на мякине...
Лишь стреляный трезвел. Но дело не в вине.

А впрочем, может быть, и в нем.
Я пил с утра, потом в хинкальной днем,
но рядом — пляж и крик, вот и забрел сюда —
маяк, погост, обрыв — сижу, гляжу отсюда
на море, на закат, на дальние суда,

на камень ваш — он у обрыва
отчасти гордо, но и сиротливо
возносится среди оград, крестов облезлых,
подкрашенных кой-где стараньями родных,
среди греческих разбитых плит, среди звезд железных.

И алюминиевый цвет
по кладбищу разбрасывает свет
довольно радостный... Фонарь, забор, верста —
все та же краска — памятник или ворота,
скамейка ли, киоск, могильная плита...

Что это? Равенства залог?
Уныние грешно, и, видит Бог,
я, Евдокия Павловна, бегу тоски,
но был мне скормлен этот цвет из детской соски,
и он подкрасил кровь, судьбу, потом виски.

Вам трудно, видимо, понять...
Нас разделяют ни "фита", ни "ять",
ни годы, но галактики. Жары дурман
сбивает с панталыку, и прочел я – Шуманъ,
в то время как на вашем камне – Шауманъ.

Мне видится подвижный немчик,
сменивший на сюртук кадетский френчик
и ручкой сделавший родне любвеобильной.
– В Россию? – О, майн гот! – Лишь с честностью одной?!
– Он движим бедностью... – И гордостью фамильной!

Оставив Лотхен куковать
и отыскав в Санкт-Петербурге мать
вашу – аль бабку, что верней, – открыл салон
"Корсаж-плюмаж". Так что за дочь был счастья полон
ваш дед по матушке отец Авессалом.

– Мой милый Августин, мой Августин,
– певал он, толику приняв.
Коль дочек семеро, то что тянуть нуду –
сам и венчал по православному обряду,
призвав чету к любви, терпенью и труду.

Ну что за диво! Братья Гримм!
Ай, сказка, да еще поездка в Рим.
Неужто к россам был вельми свободный въезд?
На современный взгляд – фантастика. И выезд?!
Ваш прах свидетельствует перемену мест.

На камне золотятся строки —
пять-шесть высоки, две глубоки —
из Фофанова, Павловой... Стихи при этом
нам с горечью и грустью говорят о том,
что рано вы ушли, отбив свой срок поэтом.

Сейчас, любительница муз,
анапский поэтический союз
навряд бы отпустил на монолит рубли,
как вас читатели бы в массе ни любили —
певицу строек и берез родной земли.

С рублями, Евдокия, нда...
Я сызмальства без них. И навсегда.
Привык. Но вам-то без привычки — просто швах.
Вот хорошо бы родственник какой во швабах —
глядь, вспомнит и пришлет пяток ночных рубах.

Таков пейзаж и антураж.
Рубахи — мелочь. И кидаться в раж —
лишь Господа гневить. Считайте — повезло,
что есть на ЧТО надеть (то есть в наличье тело) .
и можно, сжав персты, перекрестить чело.

Шалее время. Кроме злобы
еще есть трус и водка. Ей особый
почет — течет, строив строителей державы,
где питье веселием считалось, но, увы,
теперь лишь тризной отдает. И кильки ржавы.

Простите, беспокою вас.
Воображенье, а скорее, глаз
напишет старую Анапу, Городок,
который был конечно же на новость падок,
а новость — ваш приезд, и кашель, и платок.

От Петербурга вдалеке
вы в белом платье, с зонтиком в руке,
предчувствуя тоску, у моря взаперти
кляня болезнь, свалившуюся так некстати,
совсем не думали свою здесь смерть найти.

Наоборот, куда острей
среди греческих фелюг, шаланд, сетей,
хожденья к маяку, прогулок на базар,
где Снайдерс бы поблек, а дыни лили сахар,
почувствовали вы вам свыше данный дар.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ"
ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ**

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ

"РУССКИЙ РОМАН"

Место действия – Москва. Время действия – безвременье 60-х. Герой романа – "лишний человек", опять лишний, совершенно лишний в современной России – просто порядочный человек. Не аристократ, не пережиток прошлого, а человек из самых глубин нынешней советской жизни. Сюжет его судьбы составляют любовь и измена, сума и тюрьма, сладкая мысль о мести и ранняя гибель. Напряженный сюжет, глубокий психологический и социальный захват, тончайший пейзажный рисунок выделяют "Русский роман" Э. Кузнецова из множества книг, посвященных современной русской действительности.

Цена книги в мягком переплете – 12 долларов (в Израиле 7 долларов), в твердом переплете – 15 долларов. Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва–Иерусалим", РОВ 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ИЗ ЦИКЛА: РАЗЛУКИ

* * *

Ты не звони —
я не отвечу.
Ты не стучи —
я не открою.
Мы раны долгие залечим,
А шрамы белые я скрою.
Лишь терпкий запах
листопада
Мне все напомнит,
разворотит, —
Какая жуткая услада
Глядеть,
как прошлое уносит...
Застынет в памяти мгновенье,
Как мокрый след
холодной ночью, —
И каждой осенью свеченье
Далеких звезд —
в душе —
воочию.

1977

* * *

Набросок... Штрих... Намек лица...
Табачный дым — и взлет кольца.
— Прочерк.

Седьмая осень шелестит.
И пахнет морем. И дождит
к ночи.

И толпы лиц — и нет лица...
И горьковатый вкус конца
прочен.

1982

* * *

А. Шифрину
(на семинаре "эзотериков")

Семь свечей — семь недолгих дорог,
А потом тот высокий порог,
А потом тот пронзительный свет —
Вот и жизни одной уже нет.

Может, разумом и допущу:
Жизнь вторую и третью пущу,
Но без этого мира вещей
И вне тела — мне быть "ничьей".

Вне земли, вне страны, вне лица
(Дух мой бедный, хлебнем-ка винца!)
Пахнет морем, арбузом, бедой.
Мир телесный, минутку! Постой!

Ах, как птицы распелись к утру!
Я росинки с ладони стряхну.
Пятки колет сырая трава,
Шелухой отлетают слова,

Кожа ловит щекочущий луч.
На заре воздух пряно-колюч,
И комочки продрогшей земли
Еще запахом ночи полны...

Ну, пора! Отлетает Душа
И над телом кружит не спеша,
Невесомая. Путь далек.
Вот уже холодней ветерок,
И белее тот белый свет —
И меня на земле уже нет,
И внизу остаются друзья,
И вернуться уже нельзя
В том обличьи, в плоти, в крови...
Ах, тоска! Ты меня не трави.
И желанье, меня оставь!
Бестелесной, мне жизнь — алтарь.

Нет, вне тела и жить — не жить,
Где-то в атомах дико кружить,
Наблюдать, созерцать в пустоте,
В ослепительной темноте.

Заземную ту жизнь мою
Я вам запросто отдам.
Мне бы здесь донести огонек —
Всего-навсего семь дорог.

1982

* * *

Анне Ахматовой

Перебираю четки,
Янтарные, как мед.
Темнеет день короткий,
И ночь за ним идет.

И пусто так... И странно,
Что нет Вас на земле.
Но восковая, Анна,
Вы светитесь — извне.

В холодный день отпели
И три свечи сожгли,
Но долго так звенели
Хрустальные стихи.

Вот дни летят, мигая,
Все ближе к Вам, туда.
Рукой подать до Рая,
А может быть — до дна.

Но и на дне бездонно
Зияет Анны стих.
А на земле бездомно
Янтарный день поник.

1981

ИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Ю. МИЛОСЛАВСКИЙ. УКРЕПЛЕННЫЕ ГОРОДА.

225 стр.

Опубликование этой горькой повести об эмиграции вызвало бурю возмущения в эмигрантской печати. Это возмущение не помешало многим признать безусловный талант и искренность автора.

Цена книги в Израиле 5 долларов, за рубежом — 10 долларов.

Заказы направлять по адресу. 'Москва-Иерусалим', п/я 7045,
Рамат-Ган, Израиль

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

ИЗ КУМРАНСКИХ ТЕКСТОВ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА. *О ессеях, одной из трех сект еврейской религии в первом веке нашей эры (две другие — фарисеи и садуккеи), до сравнительно недавнего времени было известно только из внешних источников. С открытием в пятидесятых годах так называемых "рукописей Мертвого моря", составлявших библиотеку одной из ессеиских общин, знания об этом толке расширились чрезвычайно. Обнаружено около шестисот книг в разной степени сохранности: от почти невредимых свитков до разрозненных фрагментов и клочков. Исследователи условно делят рукописи на три группы: тексты, вошедшие в библейский канон (Закон, Пророки и Писание), произведения еврейской литературы, в канон не включенные (апокрифы), и сочинения, созданные в собственно ессеиской среде. Среди последних особенно интересны неканонические псалмы, Устав Общины, Устав о Воспитании, Устав Благословений и, наконец, Устав Войны, который мы и предлагаем вниманию читателя.*

Текст Устава Войны был впервые опубликован в 1954 году. Свиток не очень хорошо сохранился, и чтение во многих местах предположительное. Настоящий перевод сделан с английского, причем цель ставилась не научная, а литературная: дать представление российскому читателю о словесности ессеев. Это определило стиль перевода, зависящий от привычной русской Библии, подобно тому как и оригинал связан с книгами обоих Заветов.

Свою работу переводчик посвящает достопочтенному М. Меерсону-Аксенову, воину против сил тьмы.

Анри Волохонский

Для Учителя

УСТАВ ВОЙНЫ

о том

как выводить сынов света на брань со скопищем сынов тьмы, воинством Сатанинским: против дружин Эдома, Моава и сынов Аммоновых, против ратей детей Востока и Филистимлян и на полчища Киттимлян Ассирийских и иже с ними в завете Велиаловом.

Сыны Левия, Иуды и Вениамина, изгнанники в пустыне, сразятся со всеми их полчищами по возвращении отлучившихся сынов света из Пустыни Языков в стан, что в Пустыне Иерусалимской, а после битвы они восходят в Иерусалим.

Царь Киттимлян¹ войдет в Египет и затем он обращается с великой яростью против царей Севера, едва не сокрушив во гневе рог языков.

Тогда наступит век спасенья народа Божия: время владычества принадлежащих завету Его и пораженья всего сборища Сатанинского во веки вечные. Смуются сыны Иафетовы, падет беспомощный Ассур, владычеству Киттимлян придет конец, нечестие исчезнет без остатка, и для сынов тьмы не будет избавленья. Лета праведности воссияют на всех концах земли, и сиянье их продлится, пока не поглотит все лета тьмы, и тогда, в лето от Бога определенное, Его высокое величие воссияет вовек ради мира, богатства и славы, веселья и долгой жизни лет для всех сынов света.

В день паденья Киттимлян быть битве и ужасному побоищу перед Богом Израилевым, ибо то будет день, издревле определенный для битвы и пораженья сынов тьмы. В этот час дружины Сил Небесных и воинства людские бьются в великом побоище, в день скорби, когда сыны света бьются со сборищем тьмы под вопли огромных толп и восклицанья Сил и человек, провозглашающих могущество Божие. То будет время великой скорби в народе, который Бог избавит. Но из всех испытаний нет подобного сему от начала его внезапного и до окончания его в избавлении вечном.

В день битвы с Киттимлянами пусть приготовятся к избиению. Трижды бросят жребий сыны света, устремляясь в схватку сразить нечестие, и трижды бросят жребий воинства Сатаны, перепоясавшиеся, чтобы оттеснить общество Божие. Но когда дрогнут стоящие в полках, могущество Божие укрепит сердца сынов света. И с седьмым жребием² мощная десница Божия ввергнет воинство Сатаны и всех ангелов царства его и всех предавшихся ему в погибель вечную.

* * *

Устав о началах и сроках

Глав семейств в общине святых — пятьдесят два.³ После Первосвященника и его заместителя пусть назначат старших священников. Двенадцать старших священников служат при ежедневном жертвоприношении Богу, тогда как двадцать шесть глав священнических чред служат при своих чредах.

За ними, в постоянном служении двенадцать старших левитов, по одному на каждое колено. И главы их чред служат по своим местам.

А за ними — вожди колен и главы поколений в общине святых. Они являются ежедневно ко вратам Святынища, тогда как главы чред с мужами исчисленными приходят, когда им назначено, на новолуние и по субботам и во все дни года, и лета их: от пятидесяти и выше. Сии суть мужи, которые приходят к закланиям и к жертвам и которые изготовляют курение благовонное, для ублажения Бога, ради покаяния всей общины святых Его и для собственного постоянного насыщения перед ликом Его за трапезой Славы.

Все это должно устроить в лето, когда настанет год Отпущения.⁴

В течение оставшихся⁵ тридцати пяти лет войны мужи именитые, те, что созываются в Совет вместе с главами семейств общины святых, от-

бирают мужей на войну против всех стран и народов. И вооружают воителей из колен Израилевых, чтобы вступали в войско, будучи из года в год на войну призываемы. Но не должно вооружать мужей для воинств в годы Отпущения, ибо то Субботы покоя для Израиля. Шесть из тридцати пяти лет служения пусть готовятся к войне; вся община святых пусть готовится.

А в течение оставшихся двадцати девяти лет ведут войну отдельно:

первый год	— против Арама-Наараима;
на второй год	— против сынов Лудовых;
на третий год	— против остатка арамеян, с Уцем, Хулом, Тогаром и Мешехом, что за Евфратом;
на четвертый и пятый	— против сынов Артаксада;
на шестой и седьмой	— против ассириян и персов и детей Востока до самой Великой Пустыни;
на восьмой	— против сынов Элама;
на девятый	— против сынов Измаила и Хеттуры.

А в последующие десять лет ведут войну против каждого из сыновей Хамовых, по их племенам и странам; в течение последних десяти лет — против сынов Иафета по местообитаниям их.

Устав о трубах Призыва и трубах Смятенья и о том, для чего они предназначены.

В трубы Призыва трубят, когда строят к бою отряды, и для призывания пеших воинов из врат^б брани распахнутых.

А в трубы Смятенья трубят они избиење и в засаде, и в погоне при поражении врага, а также когда отходят с поля сражения.

На трубах, общину святых созывающих, чтоб было написано:

На трубах, вождей призывающих:

На трубах войсковых:

На трубах мужей именитых и глав семейств общины святых, в Дом Совета ходящих, пусть напишут:

На трубах станов:

А на трубах, в кои трубят, когда снимают стан:

На трубах боевых полков напишут:

**ЗВАННЫЕ БОЖИИ.
КНЯЗЬЯ БОЖИИ.
ВОИНСТВО БОЖИЕ.**

**БОЖИИ ПРИЗВАННЫЕ В СОВЕТ
СВЯТОСТИ.
МИР БОЖИИ ВО СТАНАХ СВЯТЫХ
ЕГО.**

**ВЕЛИЧИЕ ДЕЯНИИ БОЖЬИХ
ВРАГА СОКРУШИТ И ВСЕХ, КТО
НЕНАВИДИТ ПРАВЕДНЫХ, В
БЕГСТВО ОБРАТИТ И ПОСРАМИТ
НЕНАВИДЯЩИХ ЕГО.**

**СТРОЙ ОПОЛЧЕНИИ БОЖИИХ
ДЛЯ ИЗЛИЯНИЯ ЯРОСТИ ЕГО
НА СЫНОВ ТЬМЫ.**

На трубах, призывающих пеших наших на вражеский строй наступать из врат брани распахнутых, пусть напишут :

На трубах резни рукопашной :

На трубах засады пусть напишут :

На трубах погони :

На трубах отбоя, в которые трубы при отходе из боя в свой строй, чтоб написали :

На трубах похода с войны, когда они следуют к обществу святому в Иерусалим, пусть напишут :

О МЩЕНИИ НАПОМНИТ В ЧАС,
БОГОМ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ.

ОТ БОГА МОЩНОЙ ДЕСНИЦЫ
В БИТВЕ ПАДУТ ВЕЛИАЛОВЫ⁷.
СКРЫТЫЕ БОЖИИ НИЗЛОЖАТ
ЗЛО.

БОГ СРАЗИЛ СЫНОВ ТЬМЫ, И
НЕТ ПРЕДЕЛА ЯРОСТИ ЕГО, ДО-
КОЛЕ НЕ ИСТРЕБИТ ВСЕХ БЕЗ
ОСТАТКА.

БОГ ПЕРЕСТРОИЛ.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОЖИИ НА
ВОЗВРАЩЕНИЕ С МИРОМ.

Устав о знаменах для всей общины святых, по отрядам.

На великом знамени во главе народа да будет написано :

НАРОД БОЖИЙ,

а далее имена Израиля, Аарона и Двенадцати, по старшинству.

На знаменах отрядов в стане (по три колена в отряде), на знаменах колен, тем, ⁸ тысяч, сотен, пятидесятков и десятков пусть напишут должное, сообразуясь с уставом сим, как-то на знамени тысячи :

ЗНАМЯ БОЖИЕ,

а затем, имя вождя и имена начальствующих над младшими подразделениями.

А вот надписание на знамени колена Левиина :

СВЯТЫНЯ БОЖИЯ,

имена сыновей его Гирсона, Каафы и Мерари, имя Первосвященника и имена глав поколений колена сего.

На знамени Гирсоновом да будет начертано :

СКИНИЯ БОЖИЯ.

На знамени Каафы :

СВЯТИЛИЩЕ БОЖИЕ.⁹

На знамени Мерари пусть напишут :

ЖЕРТВА БОЖИЯ, ПРИНОШЕНИЕ ПО ОБЕТУ,

а также имя вождя Мерари и имена тысяченачальников.

На знамени Тысячи напишут :

**ОБРАТИЛАСЬ ЯРОСТЬ БОЖИЯ НА САТАНУ И МУЖЕЙ СБОРИЩА ЕГО,
ТАК ЧТО И ОСТАТКА НЕ ОСТАНЕТСЯ,**

а также имя тысяченачальника и имена начальствующих над сотнями.

На знамени Сотни пусть напишут:
МОЩЬ ОТ БОГА В ВОЙНЕ ПРОТИВ ПЛОТИ ГРЕШАЩЕЙ,
имя начальствующего и имена предводителей пятидесяти.

На знамени Пятидесяти:
ОПОРА ВЕЛИАЛОВА СМЕТЕНА БОЖИМ ВСЕМОГУЩЕСТВОМ,
имя начальника и имена предводителей его десятков.

На знамени Десяти пусть будет начертано:
ХВАЛИТЕ БОГА НА ПСАЛТИРИ ДЕСЯТИСТРУННОЙ,
а также имя начальника и девять имен подчиненных.

И выходя на битву, пусть напишут на знаменах:
ПРАВДА БОЖИЯ, ПРАВОСУДИЕ БОЖИЕ, СЛАВА БОЖИЯ, СУД БОЖИЙ
и затем все свои имена по порядку.

И приближаясь к полю битвы, да начертают на знаменах:
БОЖЬЯ ДЕСНИЦА, ЧАС ОТ БОГА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ, ОТ БОГА БРАНЬ,
ОТ БОГА ПОГИБЕЛЬ,
а следом — полный список имен.

А возвращаясь с поля битвы пусть пишут:
ЧЕСТЬ БОЖИЯ, ВЕЛИЧИЕ БОЖИЕ, ВЕЛИКОЛЕПИЕ БОЖИЕ, СЛАВА
БОЖИЯ
вместе с полным списком имен своих.

* * *

Устав о знаменах сообщества.

Строясь на битву, на первом знамени пусть напишут:

на втором:	ОБЩЕСТВО БОЖИЕ;
на третьем:	СТАНЫ БОЖИИ;
на четвертом знамени:	КОЛЕНА БОЖИИ;
на пятом:	ПОКОЛЕНИЯ БОЖИИ;
на шестом:	БОЖИИ ПОЛКИ;
на седьмом:	СОВЕТ БОЖИЙ;
на восьмом:	ЗВАННЫЕ БОЖИИ;
	ВОИНСТВА БОЖИИ;

и список своих имен по порядку.

А приближаясь к полю битвы, пусть начертают на знаменах: **БРАНЬ БОЖИЯ, ВОЗМЕЗДИЕ БОЖИЕ, СУД БОЖИЙ, БОЖИЕ ВОЗДАЯНИЕ, СИЛА БОЖИЯ, БОЖЬЯ КАРА, ИСТРЕБЛЕНИЕ ОТ БОГА ДЛЯ ВСЕХ ПЛЕМЕН, ЗАМЫШЛЯЮЩИХ ТЩЕТНОЕ,** и полный список своих имен пусть напишут.

И возвращаясь с поля битвы, пусть пишут на знаменах:
ОТ БОГА — СПАСЕНИЕ, ОТ БОГА — ПОБЕДА, ОТ БОГА — ПОМОЩЬ,
ОТ БОГА — ОБОРОНА, ОТ БОГА — РАДОСТЬ, ОТ БОГА — БЛАГОДА-
РЕНИЕ, БОГУ — ХВАЛА и МИР — ОТ БОГА.

Размеры знамен. Знамя всего общества святых — о четырнадцати локтях; знамя трех колен — тринадцать локтей; колена — двенадцать; знамена тем — по одиннадцати локтей; тысяч — по десять локтей; сотен — по де-

вать; знамя пяти десятков — о восьми локтях и знамя десятка — семь локтей.

На щите Князя общины святых пусть напишут имя его с именами Израила, Левия, Аарона и двенадцати колен Израилевых по старшинству и их двенадцати вождей.

* * *

Устав о том, как встать в передовой строй в боевом порядке при полном составе.

Полк из тысячи человек выстроен в глубину на семь ¹⁰ рядов друг другу в затылок. У каждого медный щит, как зеркало блестящий. По краям щита витое обрамление искусной работы: чистое золото, серебро, медь, драгоценные камни. Высота щита два с половиной локтя, ширина — полтора.

Оружие: копьё и мечи.

Длина копьё семь локтей, из них на обручи и наконечник — пол-локтя. Обручей три, чеканные, витые, искусной работы: чистое золото, серебро и медь с дорогими камнями по краям, разноцветное изделие мастера, с изображениями колосьев пшеницы ¹¹ внасечку. Между обручами та же резьба, что и на древке. Наконечник из белой стали сверкающей, искусной работы, с колосьями пшеницы из чистого золота верхушками к острию.

Мечи у них обоюдоострые, искусной работы, из стали, варенной в горне, чистой и светлой, на клинках с обеих сторон колосья пшеницы внасечку из чистого золота, верхушками к острию. Ширина ножен четыре пальца. Ножны свисают от пояса на четыре ладони и крепление к поясу с обеих сторон — на пятую ладонь. Рукоять меча из цельного рога, разноцветная, искусной работы: золото, серебро и драгоценные камни.

Так вооружены семь отрядов пеших. Когда распахнутся врата брани, выйдут сначала два отряда и встанут перед вражеским строем, чтобы поразить врага. После того как эти два отряда выйдут семь раз на схватку и вернуться на свои места, ¹² три пеших отряда выступают вперед и встают между строем и строем. И первый из этих отрядов семикратно метает копьё в строй врага.

А на наконечниках копий пусть напишут:

СИЯЮЩЕЕ ОСТРИЕ МОГУЩЕСТВА БОЖИЯ.

На дротах второго отряда —

КРОВАВОЕ ЖАЛО, РАЗЯЩЕЕ ПОВЕРГАЕМЫХ ЯРОСТЬЮ БОЖИЕЙ.

На метательных снарядах третьего —

ПЛАМЕНЮЩЕЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ ИСТРЕБЛЕНИЯ ЗЛЫХ СОКРУШАЕМЫХ СУДОМ БОЖИИМ.

Они должны метнуть копьё семикратно и встать по местам в строю.

Затем еще два отряда пусть выйдут и встанут меж строем и строем. Первый с копьём и щитом, второй со щитом и с мечом — дабы разбить строй обреченных судом Божиим, покорить врага суду Божию и воздать за их зло племенам, замышляющим тщетное, — да владычествует Бог Израилев и да завершит Он великие деяния святых народа Своего.

Конные семерцы должны встать справа и слева от пешего строя отрядами по семьсот всадников, на том и на другом крыле, отрядами по семи сот, с обеих сторон.

С каждой тысячей пеших выступает двести конных.

И на крыльях стана они стоят так же.

Всего их четыре тысячи шестьсот и еще тысяча конных у приданных полков, по пятьдесят на полк.

А всех конных в войске, включая приданных полкам, — шесть тысяч, по пятьсот от каждого колена.

Кони боевые при пеших полках — все жеребцы, стремительные, покорные и голосу и трубному звуку, в должном возрасте, войне обученные, привычные к шуму сражений и зрелищам битвы.

Всадники — воители отважные, умелые наездники, в летах от тридцати пяти до сорока пяти, а конные при полках — от сорока до пятидесяти. Они и кони их по грудь в броне, на них шлемы и поножи, они с круглыми щитами и с пиками в руках о восьми локтях, а всадники при пеших полках — с луками, стрелами и дротами. Все как один готовы кровь преданных злу пролить и суд Божий совершить.

Воины — в возрасте от сорока до пятидесяти лет отроду.

Надзиратели станов — от пятидесяти до шестидесяти.

Начальствующие — от сорока до пятидесяти.

Уносящие павших, собирающие добычу, очищающие землю, носильщики и те, кто поставляет припасы, должны быть в летах от двадцати пяти до тридцати.

Ни женщина и ни отрок не должны появляться в станах, начиная с того времени, как они покинут Иерусалим, выступив на брань, и до возвращения.

Ни хромой, ни слепой, ни увечный, ни недужный, ни телом нечистый — никто из них на войну не идет. Все, кто идет на войну, идут по доброй воле, совершенные духом и телом, приготовив себя на День Мщенья. И никто оскверненный да не выйдет с ними в день битвы, ибо Святые Ангелы при их воинстве. Не менее двух тысяч локтей должно быть между станом и отхожим местом, чтобы никакая непристойная нагота не виднелась в округе близ стана.

Когда же боевая рать выстроится напротив врага, строй против строя, выходят семь иереев, сынов Аароновых из срединных врат и встают между строем и строем.

Они в белых льняных одеяниях, верхних льняных и льняных исподних, подпоясаны льняным поясом — цветным, искусной работы, расшитым синим и алым и пурпуром. На голове высокий убор — наряд для битвы, не для Святилища.

Первый из священников шествует перед полком, дабы укреплять их руки в сражении, другие шесть сами держат в руках трубы Призыва и трубы Ободренья, трубы Смятенья, трубы Погони и трубы Отбоя. И когда иереи идут между строем и строем, следом идут левиты, семеро, с бараньим рогом в руке, и три старших левита пусть шествуют перед иереями и левитами.

И иереи протрубят в трубы Призыва дважды, и врата брани распахнутся на пятьдесят щитов: пятьдесят пеших выступят из одних врат, пятьдесят —

из других и старшие из левитов пусть выйдут с ними, согласно Уставу.

И в трубы трубят иереи, и два воинства пеших выходят из врат, чтобы встать между строем и строем. И трубы звучат и ведут их в бой до седьмой схватки, а там иереи трубят им Отбой и они возвращаются в строй по местам.

И вновь иереи трубят Призыв, и три воинства пеших выступают из врат и встают между строем и строем. С ними конные — по бокам, справа и слева. И трубы священников издадут протяжный рев, призывающий в битву, а отряды встают в боевые ряды, все по местам. Когда же они встанут в три ряда, иереи протрубят иной сигнал, высокий и протяжный, по которому они пойдут, наступая вперед, к строю врага. Здесь они возьмутся за оружие. А иереи станут трубить, издавая резкий прерывистый рев на шести трубах Избиенья для руководства битвой, и левиты, и все, дующие в рог барабий, громко трубят Смятенье — да дрогнут сердца врагов, а там — копья взметнутся и поразят их. Теперь смолкают роги, но трубы все для прерывистый вой, на бой зовущий, и вновь и вновь они бросаются на строй врагов и так — семикратно. Тогда протрубят им высокий протяжный пронзительный звук на трубах Отбоя.

Вот так, согласно настоящему Уставу, и должны иереи трубить для трех отрядов. Начиная с первой схватки, они громко трубят Смятенье и ведут битву, пока число бросков не достигнет семи. Затем священники трубят Отбой: протяжный сигнал, пронзительный и высокий, отзывающий всех на свои места в строю.

Затем, когда иереи вновь дуют в трубы Призыва, два пеших отряда выступают из врат и встают между строем и строем. И трубят трубы Избиенья, и левиты и дующие в рог трубят Смятенье, мощный рев, и под этот рев должны врагов начать поражать они врукопашную. Тут вой народа смолкает, но священники все дуют в трубы Избиенья и ведут битву: доколе враг не будет поражен и в бегство обращен, ведут их в битву иереи.

И тогда, в час поражения их, иереи протрубят на трубах Призыва, и пешие воины устремятся к ним из самого строя, все шесть отрядов, а также и тот, который ведет битву, все займут свои места. Всех вместе их семь отрядов: двадцать восемь тысяч пеших и шесть тысяч конных. Так пусть они преследуют врага и уничтожат его совершенно в этой брани Божией. И иереи трубят им Погоню, они же бросаются вслед за врагом, преследуя и добивая. И всадники преследуют их на всех концах поля битвы, пока не уничтожат окончательно.

Но когда сражаемые падают, священники пусть трубят издали, к погибшим не приближаясь, дабы нечистой кровью не оскверниться. Ибо они святые и не должны осквернять помазания священства кровью племен, замышляющих тщетное.

* * *

Устав о смене боевого порядка: о перестроении в четверугольник с выступами, в полумесяц, вогнутый с выступами и в полумесяц, выпуклый с выступами и в плоский серп при продвижении центра или обоих крыльев — да устрашится враг.

Щиты для выступов высотой в три локтя, колья — о восьми локтях.

Выступ должен выдаваться из строя и иметь по сто щитов по сторонам: каждый выступ окружен тремя сотнями щитов. В нем двое врат: справа и слева. А на щитах выступов пусть напишут: на первом Михаил, на втором Гавриил, на третьем Сариил и на четвертом Рафаил. Михаил и Гавриил справа, Сариил и Рафаил слева.

(Дальнейший текст этой части Устава и начало следующей, трактующей, как видно, "О речах и песнопениях, бой предвещающих", утрачены.)

И далее, как учит Моисей:

Ты с нами, о Боже, могучий и ужасный
И враги бегут от нас.

Он поучал нас за много поколений, в прежние времена и так говорил:

Когда приступаете к сражению, пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему:

Слушай, Израиль! Вы сегодня вступаете в сражение с врагами: да не ослабеют ваши сердца, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их; ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас (Второзаконие, 20:2-4).

Наши начальствующие будут говорить приготовившим себя на брань и верных сердцем силой Божией укрепят, и всем боящимся удалиться велют, а мужественных воинов утвердят. И скажут им то, что сказано Тобюю через Моисея:

Когда пойдете на войну в земле вашей против врага наступающего, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты перед Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших (Числа, 10:9).

Кто — как Ты, о Боже Израилев,
на небе и на земле?

Кто дела и деяния
такие как Ты творит?

Кто сравнится с Твоим Израилем,
в удел Тебе избранным
меж языков земли Тобой?

То народ завета святой,
о Законе наставленный,
мудрости наученный,
слышавший Глас Величия,
видевший Ангелов Святости,
Имеющий ухо внимлющее,
самым глубинам внимавшее.

Ты, о Боже, простер простор небес,
а в нем — воинства светочей :
Силы Духов и Власти Светил,
Славы клад, облачение облака.

Вот, явил Ты сушу. На ней —
отделил пустыню от пастбища,
Все явил, чем она цветет —
дал по роду — плоды ее.

Сотворил Ты кольцо морей,
слои в бездне и рек слияния
Птиц, зверей и Адама черты
в родах от его семени,
за смешеньем Языков — рассеянье.
места, где обитать племенам,
и страны, в которых уделы их,
Смены святых дней в году,
круги лет и веки вечные.

Битва — Твоя, воистину!

Мощь Твоей десницы
Их тела повергнет —
Некому хоронить их.

Голиафа из Гафа,
Великого воина
В руки Давида, раба Своего
Предал Ты, ибо — не брал копья
И не мечем
Но верой во Имя Твое
Высокое — он препоясался.

Ибо битва — Твоя!

В походы на филистимлян
Во Имя Твое многократно
Он шел бранью,
И не по деяниям нашим зпобным,
И не по нашим делам мятежным,
Но лишь по любви Твоей благодатной
Мы избавляемы были десницею царской.

Битва — Твоя, Амины!

И в брани — Твоя лишь сила, но не от нас она. Наша сила и крепость рук не содеют великого, разве как Твоим могуществом и мощью великой отваги. Так поучал Ты нас в древности, говоря:

Восходит звезда от Иакова,
Восстает жезл от Израиля:

Разит князей Моава,
Сокрушает сынов Сеира.

Будет Эдом владеньем,
Сеир — под вражеской властью.

Израиль же явит силу,
От Иакова — овладеет.

(Числа, 24:17-19)

Через Помазанника, Твои откровения познавшего, явил Ты нам во дни браней, что можешь прославиться через врагов, стирая с лица земли полчища Сатанинские, семь народов, замышляющих тщетное — десницею обездоленных Твоих, избавляемых Твоим могуществом и полнотой, приводящей в изумление мощи. Ты отворил дверь надежды истаявшему сердцу. А с теми Ты сделаешь как с Фараоном и возницами на колесницах его в Море Черном. Ты подпалишь кладезь бездны, и духи ее будут как в соломе головня пламенеющая — да рассеются Велиаловы — и не перестанет пылать, доколе нечестие не исчезнет.

Издревле пророчествовал Ты о часе, когда мощь руки Твоей обратится на Киттимлян, говоря:

Не от меча людей падет Ассур
И истребит его не меч людей.

(Исайя, 31 :8)

Ибо врагов со всех концов земли предаешь Ты в руки обездоленных Твоих, дабы рукою тех, кто повержен в прах, унижить могущество язычников, да падет на головы противников Твоих воздаянье злобным и да утвердится суд Твой праведный среди всех сынов человеческих и да сотворится Тебе вечное Имя в народе, Тобою избавленном.

Итак, Ты сразишься с ними с небес.

Ибо множество Святых¹³ с Тобою в небесах и воинство Ангельское в жилище святом Имя Твое благословляет.

Ты принял в удел избранных святого народа Своего: список имен их воинства у Тебя в обители святости, исчисление святых — в обители Славы Твоей.

Резцом жизни начертал Ты о них благодать благословений и завет мира — о царствии Твоем с ними во веки веков.

Ты составишь воинства избранных из Тысяч и Тем со Святыми Твоими, чтоб сильны были в битве и чтоб имели дух поражать возмутившихся от земли великим судом Твоим, и ради торжества с избранныками небес.

Ужасен Ты, о Боже, во славе царствия, но дружина Святых Твоих — с нами, ради вечного утверждения.

И мы презрим царей, высмеем и надругаемся над вельможами; ибо святой Господь и Царь Славы — меж нас, со Святыми Его. Доблестные воители воинства Ангелов — среди наших исчисленных и Муж Брани — в нашей дружине, воинство Духов — между пешими и конными. Они подобны тучам, словно роса, что землю покрывает, они как ливень дождя, который праведность изливает на любое земли прозябание.

Восстань, о Исполнин!
Веди Своих изгнанников, Муж Браней!
Муж мощный, доблестный, иди — сгребай добычу!
Ломай руками вражеские выи,
Топчись по трупам, груды попирая,
Рази народ мятежный и руби
Плоть грешников!
Наполни землю славой —
Наследие Свое — благоволением:
Исполнятся поля Твои скотом,
Дворцы — камнем, серебром и златом.

Ликуй, Сион!
Яви себя, о торжествующий Иерусалим!
Ликуйте, празднуя, все города Иуды!
Ворота разом распахните настезь —
Идут дружины пленные народов,
Служить к тебе являюся цари
И гнувшие тебя — идут склониться
К ногам твоим и слизывают пыль.
Вопите же, дочери, от радости
Украсьтесь камнями славы
И правьте державой языков:
Да будет Господь владыкой
И вечно царит Израиль!

Затем приблизится Первосвященник, братья его иереи, левиты и старшие в войске. И произнесут благословение о Боге и делах Его праведных и заклятие на Сатану со всеми духами сборища его. И скажут так:

Благословение Богу Израилеву в замыслах Его святых и в делах правды. Благословенны те, кто служит истине Его и кто верой Его познал.

Поношение на Сатану в его греховных умыслах, и да будет он проклят ради мерзкой власти его. Поношение на всех духов этого сборища в их умыслах Велиаловых, и да будут они прокляты ради служения нечистоте. Воистину, они — община Тьмы, а общество Божие — в свете вечном.

Ты — Бог отцов наших. Вовек благословляем мы Имя Твое. Мы — народ в наследии Твоем. С отцами заключил Ты завет, утвердишь его с сынами во веки вечные. Во всех Твоих откровениях Славы всегда являлись милости, которые поддерживали остаток — тех из нас, кто еще соблюдал себя в Заве-

те — да будет кому вспомнить деяния правды Твоей и чудные суды всемогущества.

Ради Себя избавляя Ты нас, о Боже, да будем мы Тебе народом вечным. По истине Твоей определил Ты нам удел света. Издревле назначил Ты Князя Света, чтоб нас поддерживал. Все сыны истины в руке его, все духи правды ему подвластны. Но Сатану, Ангела Зла, Ты сотворил для ада. Во тьме он властвует и умысел его — распространять зло и нечестие. Духи сборища его — Ангелы-Разрушители — ходят по уставам тьмы, тьмою прельщаются.

Дай же нам, общине верных, ликовать под сенью мощной десницы Твоей, спасеню радоваться, помощью и миром восхищаться. О Боже Израилев! Могуществом кто с Тобою сравнится? Мощная десница Твоя — с обездоленными. Какой Ангел или Князь может спастись как Ты?

Издревле определил Ты день битвы, в которой победит правда, для уничтожения нечестия, низложения тьмы и возвеличения света вовеки, для сокрушения сынов тьмы в ярости, подобной гневу Твоему против идолов Египта.

Затем происходит избиенье. И когда они прекратят избиенье и пойдут назад в стан, поют Псалом Возвращенья. Утром они моют одежды и совершают очищение от крови поверженных Велиаловых, после чего вновь идут туда, где стояли в боевом строю до начала избиенья, чтобы отсюда славить Бога Израилева. Ликуюя, восхвалят они Имя Его:

Да прославится Бог Израилев
В Завете Его милосердия,
Во сроках Его спасения,
В народе Его спасенном!
Немощных Он призывает
К дивным Своим деяньям,
Рукою их низвергает
Мятежный совет языков.
Он поднял упавших сердцем,
Отверз уста немые —
Да славят Его деянья
Да хвалят Его суды.

В трясущуюся десницу
Влагает Он меч брани,
Дрожащее колено
В сражении утверждает,
Расправит хребты гонимых
И доблестью нищих духом
Смутит жестоких сердцем
На стезе Своей праведной,
И лжи не уступит правда:
Подрублен пал сильнееший,
А мы у Тебя — последние
И хвалим Имя Твое.

О Боже милосердный,
В Завете благоволения
Еще от отцов наших
На прежние поколения
И ныне — с великой милостью
Благодать Твоя изливается —
Увы — остатку народа
Под Сатанинской властью!

Но тайны его беззакония
Нас от Бога не отлучили:
Завет Твой от бесов мрака
Избранных сохранил.
Провел Ты спасенные души
Сквозь сети его державы
Ты падших вознес высоко,
Занесшихся — низлагаешь:
Их сильные — не возмогут,
Их быстрые — не избегнут,
Их гордые — срам их доля,
Ничто в бытии пустом!

Мы же, святое племя,
Восхвалим Твое Имя
По истине деяний,
По силе великолепия,
С рассветом и при закате,
В сумерках и во мраке,
В праздные дни ликований
И во веки веков!

Перед чертогом славы
Тайн Твоих высоких
Высоко пыль взметая,
Силы ниспровергающий
Восстань, о Боже Сил!
Восстань со всей мощью!
Низринь сынов мрака,
О воссиявший в высях!

А время для Израиля будет отчаянное: услышат призывы к войне против всех и вся, да придет вечное избавление Общине Божией и сокрушение народов, во зле лжащих.

И все, кто к войне готов, выступят и встанут станом перед царем Киттимским и дружиною Сатаны, вокруг него собравшейся, на день возмездия от Божия меча.

Тогда восстанет Первосвященник и братья его иереи, и левиты и войско и прочитают вслух Молебен о Дне Войны, записанный в Книге Устава на это время, а также псалмы. Он приведет туда полки, как сказано в Книге Войн, и священник, назначенный на День Мщения голосами братьев своих, выйдет вперед, дабы укрепить сердца воителей, и скажет так:

Будьте могучи и отважны, о воины!
Не уstraшайтесь!
Сердца ваши да не дрогнут и не поколеблются!
Не бойтесь их и не опасайтесь,
Не отступайте,
Победа за вами!
Ибо они сборище преданных злу, мракобесов,
Мрачные их дела, во мрак они устремляются,
Там им и быть.
На ложь они положились,
Поэтому мощь их исчезнет как дым,
Все их великое множество
Рассеется так, что и не отыщешь.
Как есть они проклятые,
И вся их злобная сущность
Увянет скоро, словно цветик летний..

Итак, в Божьей битве будьте сильны и доблестны,
Ибо день сражения Божия против дружин Сатаны наступил
И суд на всякую плоть пришел.
Ныне Бог Израиля вздымает десницу против духов зла
в величии всемогущем,
Воинства Сил воинствующих препоясались на битву,
Дружины Святых готовы на День Возмездия
И сам Бог Израилев занес меч над народами,
Да свершат великое святыя народа Его.

* * *

Сей Устав на день, когда встанут против станов Киттимлян.

Иереи трубят в трубы Ободренья, врата брани распахиваются, пешие выступают и встают строем меж полков.

Иереи трубят: "На битву стройся!" — и с этим звуком они разворачивают строй, пока все не встанут по местам.

Теперь: иереи трубят: "В наступление!", и, едва лишь оказавшись на расстоянии полета копья от строя Киттимлян, каждый воин берется за оружие.

Шестеро священников трубят Избиенье, высокий прерывистый рев, зовущий в рукопашную схватку, а левиты и дующие в рог бараний трубят боевую тревогу под шум и крики, и начинается поражение Киттимлян.

Крик народа смолкает, но священники все трубят на трубах Избиенья, и так идет битва.

А когда сам Сатана препоясается и выйдет сынам тьмы на помощь, и когда по таинственному Божию попущенью станут гибнуть наши пешие, и когда все мужи, на битву призванные, пройдут испытание, иереи трубят Призыв запасному полку. А для тех они трубят Отбой.

Тут Первосвященник приблизится и, встав перед полком, укрепит сердца их на битву Божию. И скажет так :

Положитесь на Бога. Он воздаст им огнем пламенеющим из рук тех, кто сам в тигле переплавлен. Он изострит оружие и не остановится, пока все злые народы не уничтожит. Вспомните о Надаве и Авиуде, сынах Аароновых, судом над которыми явил Бог святость Свою в очах Израиля. Но Елеазара и Ифамара Он утвердил в завете вечного священства.

Итак, укрепитесь и вы и не опасайтесь. Им — доро́га в бездну и к смешению, ибо они склоняются к тому, чего нет, чего и быть не должно. А Богу Израилеву принадлежит все сущее и все, что имеет быть: Ему ведомы дела вечности. Ныне — день, Им назначенный к пораженью и низвержению Князя в царстве зла, а общине спасаемых Он посылает подмогу вечную в силе Ангела Михаила, Князя Царственного. Радостью вечного света детей Израиля Он освещает, да почиет мир и благословение на Божией общине. Он воздвигает царство Михаила в средоточии Сил, а царство Израиля — над всякой плотью. И праведность возликует в Вышних, а сыны Истины Его празднуют с предвечной Мудростью.

Вы же, сыны Завета, мужайтесь в последнем испытании от Бога. Таинства Его поддержат вас, доколе по мановению Его руки не придет к концу искус.

Затем иереи подают сигнал и выводят полк в строй: под звуки труб все встают по местам. Священники снова трубят к бою, и, когда пешие приблизятся к строю Киттимлян на полет копья, мужи берутся за оружие. Иереи трубят Избиенье, а левиты и дующие в рог бараний — боевую тревогу. И пешие протирают руки на дружину Киттимскую и сражаются под звуки труб Смятенья. Все умолкают, лишь иереи все трубят Избиенье, и так происходит битва.

А если и с третьим жребием по тайному промыслу Божию падут наши пешие и конные, а если падут и с тремя жребиями при трех наступлениях Киттимлян, то уж с седьмым жребием, когда высокая десница Божия поднимется для поражения Сатаны и всех бесов царства его вовек и когда Ассур низвергнется под восклицания Ангелов и крики Святых Небесных, вот тогда сыны Иафета падут, чтобы более не подняться. И сокрушатся Киттимляне, все — без остатка, ни один не спасется.

И тогда-то, в тот самый день, как десница Божия будет простерта на сборище Сатанинское, священники протрубят шесть раз на трубах Ободренья. Полки отойдут к ним и перестроятся против Киттимских станов, дабы уничтожить их совершенно. И как солнце будет клониться к закату, то восстанет Первосвященник с левитами, князьями колен и вождями в войске, и все они благословят Бога Израилева, говоря:

Благословенно Имя Твое, о Боже Сил, ибо Ты сотворил великие чудеса с народом Своим. Издревле утвердил завет с нами, врата спасенья отворял нам многократно. Ради завета Своего и по благодати избавлял нас от притеснений. Совершал сие ради Имени Своего, о Боже праведный! А ныне Ты творишь нам чудо изумительное, какого испокон веков никогда не случалось. Ибо Ты знал время, определенное для нас, и вот оно настало. Милость руки Твоей явилась нам в низложении владычества врага, в избавлении вечном. Могущество руки Твоей явлено нам на врагах в их сокрушении бранном. А ныне день торопит в погоню за толпами их. Это Ты дал нам доблестные сердца, так что нам и не сдержат их, ибо в Тебе — сила и битва — Твоя. Властелин наш свят и Царь Славы — меж нас, со Святыми Его. Доблестные воители воинства Ангелов — среди наших исчисленных и Муж Брани — в нашей дружине, воинство Духов — между пешими и конными. Они подобны тучам, словно роса, что землю покрывает, они как ливень дождя, который праведность изливает на любое земли прозябание.

Восстань, о Исполин!
Веди Своих изгнанников, Муж Браней!
Муж мощный, доблестный, иди — сгребай добычу!
Ломай руками вражеские выи,
Топчись по трупам, груды попирая,
Рази народ мятежный и руби
Плоть грешников!
Наполни землю славой —
Наследие Свое — благоволением:
Исполнятся поля Твои скотом,
Дворцы — камнем, серебром и златом.

Ликуй, Сион!
Яви себя, о торжествующий Иерусалим!
Ликуйте, празднуй, все города Иуды!
Ворота разом распахните настезь —
Идут дружины пленные народов,
Служить к тебе являются цари
И гнувшие тебя — идут склониться
К ногам твоим и слизывают пыль.
Вопите же, дочери, от радости,
Украсьтесь камнями славы
И правьте державой языков:
Да будет Господь владыкой
И вечно царит Израиль!

А завершив преследование и по окончательном сокрушении врага, они вернутся и проведут здесь ночь, до утраотдыхая.

С рассветом же придут туда, где стояли полки до начала поражения мужей Киттимских, полчищ Ассирийских и воинств народов союзных, от меча Божия павших. И приблизится Первосвященник с заместителем, старшие иереи и левиты, предводители войск и их мужи исчисленные и встанут там,

где были до избиения Киттимлян, дабы отсюда восславить Бога Израилева. Затем возвращаются в Иерусалим.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Киттимляне — народ Киттим, “кутеяне” Иосифа Флавия. Первоначально название племени, может быть хеттского, жившего в верхнем Двуречье. Позднее перенесено на обитателей Кипра, македонян и, в Уставе, на римлян. Из “царей Киттимлян” в Египет “входили” греко-македонские правители его Птолеми, сирийские Селевкиды, Цезарь, Помпей и Антоний, а также провозглашенный императором Веспасиан, военачальник римских войск, подавлявших иудейское восстание 66 года.

2. **Жребий** — это слово, на иврите “гад” или “горал”, ставит священную войну сынов света в прямую связь с Армагеддоном новозаветного Откровения святого Иоанна. Армагеддон, исторический Мегиддо, должен переводиться как “Гора жребиев”, на которой произойдет решающее сражение армий, предводительствуемых Агнцем (то есть Мессией, Иисусом Христом) в образе ангела света, с войском Дракона, Зверя и Лжепророка.

3. **Пятьдесят два** — двенадцать старших священников, столько же старших левитов, Первосвященник, его заместитель и двадцать шесть глав семейств (“чред”), по числу недель в солнечном году из 364-х дней. Ессейский год, который отличался от общепринятого в Иудее, состоял из семи семинедельных периодов (как между Пасхой и Пятидесятницей), к последнему из которых добавляли еще три недели.

4. **Год Отпущения** или субботний — седьмой год в семилетнем цикле, когда согласно Моисееву закону отпускали на свободу рабов.

5. **Оставшиеся годы** (в тексте в одном случае стоит ошибочно 33 года, в другом — 35, что верно) — из сорокадевятилетнего юбилейного цикла одно семилетие целиком “субботнее” и в счет не идет. Из сорока двух лет шесть, в свою очередь, — субботние годы семилетних периодов, а один год и есть “лето от Бога определенное” на священную войну. Остаются 35 лет: шесть лет на подготовку, по десять на войны против потомков Хама и Иафета, а на Сима отведено девять лет, так как Израиль сам и есть десятый народ из Симовых.

6. **Врата брани** — промежуток в развернутом строе фаланги, через который колоннами выходят отряды из задних рядов для нападения на строй врага.

7. **Велиал** — олицетворенное безбожие, тщета, несущественность, небытие. “Завет Велиалов” можно переводить и как “Союз безбожный” и т. п.

8. **Тьма**, греческая мириада, “десять тысяч” — военный отряд, объединяющий несколько тысяч, приблизительно эквивалентный римскому легиону. В войске сынов света он состоял из четырех тысяч пеших и восьмисот конных, то есть был равен одной седьмой всей армии.

9. Эта фраза и две предыдущие вставлены переводчиком на месте разрушенного текста.

10. **Семь рядов** — двадцать отрядов из пятидесяти воинов, выстроенных

плотной шеренгой, каждый в виде квадрата из 7 x 7 воинов да по командиру рядом, составляют "тысячу".

11. Колосья пшеницы — знак избранничества, связанный с символикой праздника Швуот, когда в Храм приносили начатки урожая. Параллель в Откровении Иоанна — запечатление 12.000 избранных от каждого из колен Израилевых, символизирующее тот же праздник.

12. От начала абзаца и до слов "свои места" — вставка переводчика на разрушенном месте.

13. Святые — слово, означающее как избранную часть человечества, так и ангелов, в зависимости от контекста. Мы пишем "Святые" с заглавной буквы, когда речь идет о небесной твари.

А.А.Милн

ДЕЛА КОРОЛЕВСКИЕ

Бегают за курицей
Уже четыре дня,
Бегают по улице,
Курицу кланя,
Бегают по улице,
Стучатся в ворота,
НО МАЛЕНЬКАЯ КУРИЦА
СТРАШНО ЗАНЯТА,
МАЛЕНЬКАЯ КУРИЦА
СТРАШНО ЗАНЯТА,
ДА, МАЛЕНЬКАЯ КУРИЦА
СТРАШНО ЗАНЯТА:
Она несет на завтрак
яйца для МЕНЯ!

стихи

автора знаменитого Винни-Пуха

в переводе Н. Воронель

рисунки М. Байера



ИЗДАТЕЛЬСТВО
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫШЛА В СВЕТ

НОВАЯ КНИГА

ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК
ДЕТЯМ



Цена книги — 150 шекелей (6 долларов) с пересылкой.

Заказы и чеки высылать по адресу: "Moscow-Jerusalem" P. O. B. 7045
Ramat-Gan, Israel.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Гиллель Галкин

КОЛЕСО ИСТОРИИ

Несколько лет тому назад южноафриканский англоязычный еврейский автор Дан Джэйкобсон опубликовал роман, озаглавленный "Изнасилование Фамари". Это не был, на мой взгляд, удачный роман. И видимо, Джэйкобсон сам понял это, потому что впоследствии он дважды вернулся к той же теме: один раз — перенеся библейский сюжет в современность и развернув его в первоклассную книгу "Признания Иосифа Байша" и вторично — сейчас, обратившись непосредственно к Библии в литературно-критическом очерке "Рассказ рассказов", который нельзя назвать иначе, как серьезным и глубоким.

Разумеется, литературоведческий подход к Библии весьма в моде сегодня, и, судя по количеству соответствующих публикаций, можно подумать, что Библию только что впервые обнаружили в какой-нибудь Кумранской пещере. Внезапно "открыли", что Библия есть также литература, и армия профессионалов, вооруженная всеми орудиями своего ремесла, тотчас двинулась на охоту, выслеживая синекдохи и метонимии, выискивая метафоры и образы, обнаруживая скрытую иронию и страсть и вскрывая реальность-за-кажимостью и кажимость-за-реальностью, которые сделали бы честь любому авангардистскому поэту. Некоторые из этих открытий интересны, большинство — тривиальны, но почти все они говорят лишь о том, как работает библейский рассказ, и совершенно не касаются того, о чем он рассказывает. Похоже на то, как если бы нам рассказали о назначении и действии всех колесиков и пружинки часового механизма, забыв упомянуть лишь об одном: как прочесть время по циферблату.

Книга Джэйкобсона не относится к этой категории; напротив, она представляет собой смелую попытку рассмотреть Библию как целое. Хотя Библия, как свидетельствует само ее название, является, в сущности, собранием рассказов, Джэйкобсон интересуется не столько деталями каждого из них, сколько "рассказом рассказов", то есть общим "сюжетом" всей Библии, рассматриваемой как единая Книга, начинающаяся с "Бытия" и кончаю-

щаяся “Деяниями апостолов” (в этом включении в литературный анализ христианского материала нет, разумеется, никакой христианской предвзятости).

Такой подход предполагает, понятно, что искомый общий сюжет действительно существует и что Библия может быть прочтена как единый связный рассказ, а не как сложившееся в течение тысячелетия собрание разнородных и зачастую противоречивых материалов (каковым ее считает историческая школа). В этом “внеисторическом подходе”, рассматривающем Библию как единый синхронный текст независимо от того, кто и когда создавал различные ее части, Джэйкобсон сходится со всей современной литературно-критической школой, — как эта последняя забавным образом возвращается к традиционному еврейскому (и христианскому) взгляду, по которому единство Библии — это непререкаемая и очевидная истина.

Коротко говоря, Джэйкобсон утверждает следующее. Если брать Библию “как она есть”, то главным в ней оказывается рассказ о долгом и бурном романе между Народом Израиля и его Богом и многочисленных перипетиях этого романа. Роман этот был начат Богом, но с того момента, как он был “официально” оформлен в Завете, стал обязательным для обеих сторон. Евреи то благодарили Бога за Его внимание к ним, то корили за Его невыносимые требования, то послушно выполняли Его волю, то бунтовали против нее, то доверялись Его любви, то страшились Его гнева, тогда как Он, в Своем отношении к ним, был порой преувеличенно щедр, порой болезненно обидчив, то нежно заботлив, то презрительно ненавидящ, временами бурно ласков, временами способен на самые страшные наказания, иногда неумолимо жесток, иногда трогательно искренен в своем раскаянии. Иными словами, то были в высшей степени противоречивые отношения, колебавшиеся между эмоциональными крайностями. Не самый идеальный брак; быть может — даже несчастливый; но при всем том необычайно страстный, так что ни одна из сторон не стремилась к разводу.

Все сказанное до сих пор может обнаружить в Библии любой внимательный и интеллигентный читатель. Но в этом месте Джэйкобсон задает свой главный вопрос. Примем, говорит он (как всякий нерелигиозный человек), что это люди создали Бога, а не наоборот, и что Бог Библии и Его отношения с избранным народом есть, таким образом, коллективное мифологическое поро-

ждение самого народа; как в таком случае объяснить содержание Библии? Или иначе: если чувства Израиля к Богу и чувства Бога к Израилю есть проекция наружу внутренней жизни самого Израиля, то что можно сказать об источнике и причинах той глубокой амбивалентности, с которой Израиль относится к себе и окружающему миру? Что за психология ее порождает?

На этот вопрос книга Джэйкобсона отвечает:

Разумеется, народ, который верит, что он один избран универсальным и всемогущим Богом на роль единственного получателя Его благ (будь это бог поменьше, один из богов племенных пантеонов, все было бы тривиально), — это народ с экзальтированным отношением к самому себе, столь нереалистически экзальтированным, что какой-то частью своего существа он должен сознавать, какие силы он на себя накликает подобными претензиями. (В этом месте я мог бы привести массу случаев из жизни и такую же массу современных психологических теорий, указывающих, что подобное экзальтированное чувство собственного превосходства зачастую является компенсацией глубоко скрытого комплекса неполноценности.) Поэтому гордясь своей уникальностью и Божественно дарованной удачей (включая избавление из египетского плена и обретение плодородной земли, силой отвоеванной у других), такой народ одновременно испытывает непрерывный страх, что эта удача внезапно кончится и, более того — что такой конец будет заслуженным наказанием за гордыню. По словам Джэйкобсона: “Гордясь выбором Яхве и радуясь унижению врагов, которые были Им отвергнуты, составители библейского рассказа ни на минуту не могут отделаться от мысли, что, быть может, настанет и их черед оказаться среди отвергнутых. Ибо таков риск, на который они пошли, пробуждая силы, способные на столь судьбоносный выбор, такова цена, которую они согласились платить за благосклонность этих сил. Постоянная мысль о такой возможности — одно из удивительнейших свойств всего рассказа. Он скрытно говорит нам, что рано или поздно это должно случиться, если народ претендует на особые условия, в которых отказано другим и всему миру. Очевидная мораль Библии состоит в том, что Бог гневается на Израиль, когда Израиль нарушает Его волю. Скрытая же мораль состоит именно в утверждении, что избрание таким Богом влечет за собой воздаяние соответствующих масштабов. Я думаю, что эту скрытую мораль не замечают лишь потому, что явная навязывается читателю столь яростно и настойчиво”.

“Ужасная возможность” отвержения Господом, пишет Джэйкобсон, подкреплялась дополнительно теми “угрызениями совести, которые израильтяне ощущали, вспоминая об изгнанных ими из Ханаана народах, и которые косвенно отразились в библейском предписании подчиняться воле Господней, ибо “в противном случае исторгнет вас земля, как исторгла народы, бывшие до вас”. Этот постоянно преследующий страх, что колесо Божественной фортуны повернется снова, объясняет принудительную детальность библейского законодательства и ту настойчивость, с которой подчеркивается обязанность беспрекословно подчиняться Закону. Центральное место, которое Закон занимает в Библии, пишет Джэйкобсон, “в действительности отражает стремление библейских авторов наложить обязательство на Яхве. Синайский Завет был попыткой исключить всякую возможность того, что Бог захочет злоупотребить Своей свободной волей и снова начнет выбирать среди народов. Достаточно, что Он выбрал однажды. Второй раз это может обернуться катастрофой. Библейские авторы хотели заручиться чем-то надежным, предсказуемым и рациональным. Склоняясь перед нерушимостью Закона, они в глубине души надеялись этим склонить под его ярмо и Законодателя”.

К тому времени, когда катастрофа действительно разразилась: погубило сначала северное Израильское царство, а затем южное Иудейское, ее уже столько раз мысленно предвосхищали (а подсознательно, может быть, и предвидели), что она не только не подорвала уникальное представление ее жертв о самих себе, но лишь усилила эти представления и вполне естественно была в свою очередь включена в национальный миф. Сам факт, что Господь дал себе труд так наказать Свой народ и обрушить на него такие бедствия, оказался в глазах народа доказательством Его особого отношения к этому народу. И в то же время “рассказ об этом представляет собой осуждение и яростное отвержение народом самого себя, какой-то своей части, воплощенной в образе тех, кто повинен в бедствиях, обрушившихся на всю нацию”. Иными словами, любовь к себе и ненависть к себе столь же нерасторжимо переплелись в душе Израиля в минуту бедствия, как и в минуту триумфа; в этом переплетении они взаимно усиливали друг друга: чем больше была одна, тем больше другая; и чем больше были они обе, тем лихорадочней становились метания между ними; и чем резче становились эти метания, тем более жгучей была потреб-

ность примирить эти противоречия в коллективном мифе, иными словами — в библейской религии, которая впоследствии стала называться иудаизмом.

Диалектическая логика этой религии не позволяет истории на том завершиться. "После отвержения — возрождение и восстановление. По словам библейского рассказа, такое развитие не просто логично или желательно — оно абсолютно неизбежно". Когда колесо Божественной фортуны понесло их вниз, под удар, которого они так долго со страхом ожидали и который наконец-то освобождал их от этой постоянной тревоги и очищал от былых грехов, израильтяне могли наконец позволить себе надеяться, даже верить, что дальнейшее вращение колеса поднимет их снова вверх и что Господь снова выведет их из изгнания, как когда-то вывел из Египта. И в их представлении это "великое циклическое движение библейского рассказа", как называет его Джэйкобсон, становилось чем-то бесконечным, ибо колесо, запущенное глубинно-двойственным отношением Израиля к самому себе, не могло остановиться никогда. Та же история, которая однажды уже привела народ от диких кочевий к обладанию землей, от обладания — к утрате этой земли, от утраты к изгнанию, от изгнания к надежде или мечте о возвращении, — та же история должна была логически вести к следующему этапу изгнания и бездомности, тем завершая свой полный цикл. Именно потребность вырваться из этого порочного круга, считает Джэйкобсон, породила пророческие видения апокалипсиса. "Пророки хотели, чтобы циклический библейский рассказ обрел наконец завершение — вот почему величайшие усилия их воображения были направлены на изображение приближающегося возрождения, как состояния абсолютного покоя, как конца".

Действительно, только "страшный суд", от которого спасется лишь "остаток" Израиля и который окончательно отделит праведников от грешников, способен разделить полярности, совмещенные в представлении Израиля о самом себе. Происходит разделение любви к себе и ненависти к себе "в душе" самого Израиля, и мучительный роман избранного народа с Богом приходит к счастливому концу.

Джэйкобсон останавливается там, где останавливается Библия, и не обсуждает дальнейшее течение еврейской истории. Он говорит лишь, что христианство порвало с этим "великим циклическим движением" Библии не путем пророчествований о приближении

его конца, а путем провозглашения, что этот конец уже наступил. И тем самым оно отодвинуло концепцию особого, Божественно избранного народа в теологически превзойденное прошлое, избавив своих последователей от того крайнего эмоционального напряжения, которое характеризовало жизнь Израиля с самого начала. Еврейская религия, освобожденная от мучительной еврейской амбивалентности, уже могла быть доступной другим народам.

Прав ли Джэйкобсон? Сомневаюсь, чтобы на такой вопрос можно было ответить. Ведь речь идет не о фактах, а об их интерпретациях, а интерпретации всегда спорны. Могу лишь сказать, что его прочтение Библии кажется мне весьма правдоподобным — и глубоко тревожащим.

Однако тревожит меня не столько та интерпретация, которую он предлагает для первой половины еврейской истории, обсуждаемой в книге, сколько то, что из этого следует о второй половине, иными словами — о том постбиблейском периоде, в котором мы все еще живем. Именно по отношению к этому периоду книга Джэйкобсона пробуждает весьма неутешительные мысли.

Еврейские пророки, утверждает Джэйкобсон, пытались прорвать повторяющийся цикл библейского “сюжета” утверждением о близости решающего апокалипсического конца, мессианского последнего акта затянувшейся драмы отношений между Израилем и Богом. Апокалипсис, однако, не наступил; и, хотя в последних книгах Библии, составленных после возвращения из Вавилонского плена и создания Второго Храма, мы расстаемся с еврейским народом, когда он вновь надежно расположился на своей земле, библейскому циклу “от владения землей к изгнанию из нее, от изгнания к рассеянию, от рассеяния к надежде на возвращение” предстояло неизбежно повториться — от золотого века династии Хасмонеев к страшному поражению двух восстаний против Рима; от окончательной утраты независимости к почти полному изгнанию евреев из Палестины; и от многовекового рассеяния в диаспоре с ее чудовищными страданиями — к новой попытке создания еврейского отечества уже в наши дни. Загадочным, необъяснимым, невероятным образом “великое циклическое движение”, вернувшись к своему исходному пункту, совершило вслед за этим еще один полный двухтысячелетний круг.

Сионисты, подобно древнееврейским пророкам, тоже хотели вырваться из этого порочного круга, хотя, в отличие от своих пред-

ответственников, надеялись осуществить это с помощью земных средств, а не Божественного вмешательства. Если изгнание, рассуждали они, было историческим несчастьем, обрушившимся на евреев, то усилие еврейской воли может повернуть ход событий. На деле эта воля уже существовала в виде традиционного еврейского стремления к Сиону; нужно было только дать ей практическую возможность выразить себя. И действительно, с установлением еврейского государства сионистский диагноз, казалось, подтвердился и еврейский народ — или, по крайней мере, большая и растущая его часть — снова обрел надежный дом.

Надежный ли? То, что мы видим в еврейском государстве сегодня, спустя тридцать четыре года с его основания, делает его будущее куда более проблематичным, чем это казалось отцам-основателям. Изолированный на международной арене, окруженный врагами, геополитическая сила которых находится на подъеме, ослабленный внутренней рознью и хромающей экономикой, сознающий, что евреи диаспоры не хотят жить в нем и не могут приниматься в расчет для компенсации растущего в его лоне враждебного арабского меньшинства, Израиль представляет собой сегодня страну, безопасность которой далеко не гарантирована. Может ли оказаться, что и это еврейское государство является не завершением того повторяющегося цикла событий, который начался почти четыре тысячи лет назад в Уре Халдейском, но лишь еще одной временной остановкой вращающегося колеса, что неумолимо продолжит свои обороты, словно подгоняемое некоей дьявольской силой? Сионисты были несомненно правы, рассматривая свою победу как интегральный момент еврейской истории; но нет ли оттенка иронии в этой мысли? Ибо если перед нами естественное развитие еврейской истории, то оно может быть той же самой историей превзойдено в ее безостановочном движении по своему циклу.

Фантастическая мысль! Наверняка более фантастическая, чем весь "Рассказ рассказов", который твердо держится линии на серьезный анализ библейского текста; тем не менее мысль, которая неуклонно навязывается этим анализом (хотя показалась бы невероятной каких-нибудь 10–15 лет назад). Ибо анализ Джэйкобсона не столько раскрывает "сюжет" Библии, сколько предлагает психозитническое объяснение того, как этот сюжет мог возникнуть и реализоваться. И если этот анализ верен или хотя бы частично верен, то нельзя не задуматься над тем, продолжают ли

действовать те же психоэтнические факторы сегодня — с теми же последствиями. Разумеется, имея мы дело с любой другой группой людей, подобные рассуждения звучали бы абсурдно. Ну, кто, в самом деле, будучи в здравом уме, решился бы предположить, будто можно понять нечто существенное в характере современных англичан, а уж тем более — гадать о будущем Великобритании на основе тщательного изучения “Беовульфа”?! Совершенно разные времена, совершенно разные народы... А ведь древность “Беовульфа” и вполнину не дотягивает до древности Библии!

Но в том-то и дело: ни один англичанин не считает “Беовульф” священным национальным текстом; в мире вообще нет другого такого народа, который, как евреи, систематически интерпретировал бы свою собственную историю в свете подобного текста и более того — считал бы этот текст не только авторитетной хроникой своего прошлого, но и нерушимым руководством на будущее. У евреев же именно эта живая связь с Библией неизменно была величайшим источником их силы, и сознание этого уже в наше время побудило секулярные политические и культурные круги Израиля отвести Библии выдающееся место в национальной жизни и при любой возможности подчеркивать, что легитимность сионизма покоится именно на священных еврейских текстах. Это не пустые слова. Достаточно перечитать Библию (многие ли образованные люди сегодня дают себе этот труд?), чтобы убедиться, что вся она — “Бытие”, “Исход”, Иеремия и Исайя и “Книга Эстер” — звучит как сиюминутный комментарий к современной еврейской жизни. Ее сюжеты воспроизводятся в нашу эпоху; ее строки украдены у наших знакомых: она лучше объясняет евреям, что с ними происходит, чем ежедневные газеты, — и мне это кажется глубоко волнующим и пугающим. Книга Джэйкобсона только укрепляет это ощущение. Библейский миф, говорит он, способен был стать реальностью потому, что он одновременно и рождался из коллективной психологии народа и формировал собой структуру этой психологии. Народ верил в этот миф и потому действовал согласно ему. В скольких еврейских умах сегодня (и не обязательно тех, которые это сознают) продолжают действовать те же мифы, переданные и лишь слегка трансформированные в поколениях? Джэйкобсон не ставит этих вопросов — но он вынуждает нас задать их себе. Останутся ли евреи евреями без этого мифа? Ответ аналогичен. “История, — говорил Стивен Дедалус, — это

кошмар, от которого я пытаюсь пробудиться". Является ли Библия еврейским кошмаром — или той необходимой мечтой, от которой все еще зависит еврейское существование? Или и тем, и другим одновременно? Или ни тем, ни другим? Будет ли ее великое сюжетное колесо продолжать вращаться, если мы будем в это верить? А если мы пробудимся от этого сна, какая реальность займет его место?

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Игорь Гарик. "Еврейские Дацзыбао" (книга 2-я), язвительные, остроумные четверостишия, ставшие в России фольклором (вроде: "Поздняя осень, жиды улетели..."), а на Западе — бестселлером.

Цена 6 долл.

**Заказы и чеки высылать по адресу:
P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel**

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

ГИЛЕЛЬ ГАЛКИН. ПИСЬМА АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ

Когда эта книга была опубликована несколько лет назад на английском языке, целые группы американских евреев специально приезжали к автору, чтобы оспорить его или выразить благодарность. Журнал "Мидстрим" назвал "Письма" важнейшей еврейской книгой последнего десятилетия". Израильские газеты посвятили ей огромные полосы. Этот страстный, откровенный, полемичный разговор-раздумье о самых острых проблемах Израиля и диаспоры никого не оставляет равнодушным и каждому дает пищу для размышлений.

Цена книги — по заказу — 4,5 доллара (за рубежом — 9 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem", P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

ПАРАДИГМА МОИСЕЯ

Говорят, в Израиле “что ни человек, то судьба”. У продавщицы в маленькой лавчонке — освенцимский номер на руке; сотрудник музея — бывший руководитель восстания в гетто; продавец кока-колы — первый еврейский водолаз за две тысячи лет. А может — за все четыре...

В сущности, однако, подлинно разных вариантов еврейских судеб не так уж много. Колоритные различия касаются тривиальных подробностей — если, разумеется, согласиться, что различие между Освенцимом и гетто “тривиально”. Может быть, количество таких вариантов в Израиле даже меньше, чем в других странах. Ибо еврейская судьба, точнее — судьба евреев, на самом деле сводится к нескольким немногим, повторяющимся в истории схемам — или, как сейчас модно выражаться, парадигмам.

Можно было бы рискнуть утверждением, что это связано с коренной особенностью еврейской истории — ее многовековой (при всех скитаниях) статичностью. В пятый, в десятый, в сотый раз она воспроизводит одну и ту же историческую парадигму — изгнания, рассеяния, жизни в галуте. Народ рассеян среди других, враждебных ему, народов и столетиями отлучен от почвы. Условия существования навязывают евреям считанное число выборов. Есть выбор ортодоксального верующего, который сохраняет религию предков (а с ней — и народ). Есть выбор вероотступника, рвущего с этой верой с треском и хлопаньем дверей. И есть выбор “неофита”, который возвращается к вере и народу со всем пылом и фанатизмом любого неофита.

Лишь слегка замаскированные, эти судьбы повторяются и вне религиозных рамок. Те же считанные типы, но уже в “национальном”, а не религиозном контексте: органический “почвенник”, сохраняющий национальную принадлежность; эмансипировавшийся ассимилятор, с треском и хлопаньем дверей рвущий со своим народом; неофит, пытающийся обрести для себя “свой народ”.

Еврейская секулярная история нашего века разыгрывается именно в этих сценических масках: Вейцман, Бен-Гурион, Бегин

в ролях органических националистов; Мандельштам, Пастернак, Багрицкий в амплуа “отступников”; Герцль, Нордау, Жаботинский — с текстом пылких неофитов.

Судьбы “органических” евреев всегда проще, монотонней, суше. Только в ситуации уходящих от народа или возвращающихся к нему разворачивается вся драматичность еврейского сюжета. История снисходительна и благосклонна к этим своим любимцам. Она не только запоминает все мелочи их поисков и сомнений, но часто дает им возможность самим об этом поведать.

Парадигма “возвращающегося неофита” восходит к первому из них — законодателю Моисею. Как и все прочие, она порождена ситуацией изгнания. Долгое рабство порождает очередную вспышку национально-религиозного брожения и перед еврейскими интеллектуалами в очередной раз встает проблема тяжелого выбора.

Парадигма Моисея, запечатленная в библейском рассказе, кажется удивительно современной — если читать этот рассказ вне его религиозного контекста. Не знаю, правомочно ли его так читать. Знаю лишь, что такое чтение неизбежно возвращает мысль к нашему Исходу и его действующим лицам. Стоит перечесть под этим углом зрения “Трепет иудейских забот” Александра Воронеля — эту исповедь современного еврейского интеллектуала, вставшего перед тем же выбором. В этой книге уже вычитывали историко-философские размышления, пикантные автобиографические подробности, рассуждения на научные темы. До сих пор, однако, не вычитали того, что образует сквозную ось этих разнородных пластов, — парадигму Моисея.

Что же такое эта парадигма?

Вот перед нами талантливый еврей, который вырос в чужой культуре, на ее верхах, не зная ограничений и дискриминации, выпавших на долю его более “простых” соплеменников, не зная, в сущности — даже не помня, что он — еврей. Вот он внезапно для себя входит в конфронтацию со своей средой и режимом. Заметим: конфронтация эта не имеет чисто еврейского характера. Моисей убивает надсмотрщика, который избивает раба; тот факт, что раб этот оказался евреем, в значительной мере случаен, да Моисею поначалу и неизвестен. Трудно предположить внезапную вспышку “национального достоинства” в этом египетском принце, избалованном вседозволенностью и вседоступностью, привычкой, что любая его прихоть будет исполнена немедленно. Тогда что же

руководит им? Скорее — врожденное отличие характера от окружающих; возможно даже — генетически-национальное отличие, которое он тем не менее не осознает. Скажем — врожденное чувство отвращения к маленьким деспотам, унижающим слуг и рабов. Зародыш инакомыслия, помноженного на своевольное упрямство. Этакая поперечность поступка и мысли, обусловленная склонностью и привычкой к свободе. К долголетней свободе привыкают ведь так же, как к долголетнему рабству, — и тогда любое ограничение ее кажется нестерпимым.

Вот почему Моисей, прикончивший жалкого надсмотрщика, был, вероятно, весьма удивлен, когда ему этот проступок почему-то поставили в вину. Его отлучили от двора и верхов, на него навесили ярлык диссидента, его вынудили к эмиграции в пустыню. Он к этому не привык; он окаменел в своей поперечности; он стал профессиональным изгоем.

Режим, конечно, допустил ошибку. Прости он Моисею аристократическую прихоть (ну, побаловался принц, всего-то делов!), раздвинь слегка границы дозволенного своемыслия — может, остался бы Моисей при дворе. Может, и фараоном со временем бы стал. А место его в истории занял бы, конечно, кто-нибудь другой. Свято место в истории пусто не бывает...

Если верить Фрейду, то было время борьбы вокруг наследия Эхнатона — ереси солнечного единобожия. Наступала реакция; египетские колесницы раздавили "эхнатоновскую весну", ее "религию с человеческим лицом"; надежд на успех правозащитной деятельности внутри Египта не оставалось; надо было обдумывать будущее: то ли смириться и приспособиться, то ли уйти во внутреннюю эмиграцию, в ее "мышинное царство", то ли хлопнуть дверью. Человеку, избалованному свободой (а может, изначально наделенному более острой потребностью в ней), естественно было избрать третий путь. Однако хлопнуть дверью в тоталитарном Египте было не так-то просто.

Выход, однако, существовал: можно было уйти вместе со "своим" народом — масштабно и громко. К тому времени положение этого народа стало окончательно невыносимым. Под гнетом рабства и дискриминации, вытеснявшей евреев в низы социальной лестницы, на строительство пирамид, в народной среде проснулись древние воспоминания об "истоках" и "корнях". Стали циркулировать смутные слухи о собственной земле, где когда-то (некоторые утверждали, что и сейчас) жили евреи; о союзе, некогда заключен-

ном с самим Богом; кое-кто поговаривал даже о возможности массовой репатриации на историческую родину. Но как прорвать железный занавес, отделяющий Египет от широкого мира?

Все же надежда — если она вообще существовала для Моисея — существовала в жалких еврейских шатрах, и принц впервые в своей жизни увидел там своих соплеменников.

Ситуация его была сложной. Еврей по рождению, он духовно был полукровкой. Определение это не означает степени генетической принадлежности к народу. Оно призвано лишь напомнить, что поначалу Моисеи не ощущают “национальных корней”. Кровная принадлежность для них формальна, культурная — сущностна. Они должны поэтому заново создать свою связь с народом, фактически — изобрести для себя “свой народ”.

Парадигма Моисея — это схема судьбы глубоко одинокого индивидуалиста. Моисеи выбирают народ как орудие личного освобождения. Но раз выбрав, они ощущают моральный долг и необходимость его выплаты. Поэтому они решают — принуждают себя — разделить судьбу “своего” народа. Однако масштаб личности не позволяет им остаться просто равными среди равных. Их неизбежно выносит во главу событий. Они становятся вождями, лидерами, “активистами алии”.

Способ этого становления весьма своеобразен.

Представьте себе диссидента, прочно принадлежащего “имперской” культурной и духовной среде, который выбрал свободу, а как средство достижения ее — выбрал себе “народ”. И не только выбрал, но волею обстоятельств и личных качеств возглавил его (свое) движение к свободе — движение за массовую алию. Первый импульс этого обиженного принца, только что отторгнутого от двора, состоит в том, чтобы “вернуть свой билет” — вернуть якобы добровольно, с вызовом, демонстрируя, что больше теряют те, кто его изгнал, потому что он-то нашел большее. Иными словами, не просто примкнуть к “своему” народу, но еще этот народ возвысить, противопоставить Империи как равный или даже превосходящий. Генетически, органически-“спокойно” ему это ощущение национального равенства или превосходства не дано, как не даны воспитанием и “простые”, органические связи с народом. Тем легче ему вообразить свой новый народ в любом желаемом виде, смоделировать его по единственному зна-

комому образцу — самому себе, короче — изобрести для себя народ и приписать ему необходимые для идеологического конфликта с режимом черты.

Основа этого конфликта формулируется для него в противопоставлении "рабство—свобода". Ведь это и есть суть личного конфликта диссидентствующего принца с имперским двором. Поэтому первой чертой, приписываемой народу, оказывается "врожденное свободолюбие", противопоставляемое "органическому рабству" отвергаемой (отвергшей) культуры. Так возникает мотив еврейского свободомыслия и врожденной демократичности. Глубоко личная суть конфликта толкает к соответствующей форме его изложения — тоже личной, автобиографической, исповедальной. Библия в этих главах сохранила нам следы автобиографии Моисея: несомненно, горделивый рассказ о том, как трепетал фараон и бледнели аристократы могущественного Египта, когда являлся перед ними Моисей в своих диссидентских отрепьях — не биография, а автобиография, то бишь картина, какой ее хотел видеть сам Моисей. Стержень этой автобиографии, смысл этого трепета иудейских забот, внезапно охватившего Моисея, — сведение личных счетов, рассказ о том, как "не сложились" отношения между принцем и двором, но рассказ, переведенный в "объективированную" плоскость повествования о том, как не сложились отношения между двумя равными по величию народами. Пафос этого рассказа — в утверждении собственной суверенности, равноправности с отвергшими ("король французский шлет привет императору германскому") через утверждение равноправности культур противостоящих народов. Равноправности — и органического различия. Более того — даже некоторой ущербности отвергшей культуры. Хоть она и имперская, а — вторичная. Ею владеют зависть и ревность к истинно мессианскому призванию "моисеева" народа. Но зависть эта тщетна: избранность еврейства подлинна, а избранность египетского (русского) народа — самозванна и мнима.

Утвердив таким образом свое превосходство, отвергнутый принц обретает внутреннее спокойствие. Теперь уже он может сообщить "императору германскому" главное в своем послании: наши пути разошлись необратимо. "Наши" — имеются в виду его и двора, но выражается: пути народов.

Теперь-то двор поймет, кого и что он теряет. Теперь-то имперская культура дрогнет, поняв, как она обеднеет. Моисей же на-

правит свои стопы на восток, вместе с обретенным (изобретенным) народом. Отпусти народ мой...

Кто-то (кажется, Хазанов) писал, что пафос "Трепета иудейских забот" — это пафос личной свободы. Это сказано очень точно. Все остальное — рационалистические послеосмысления этого основного пункта. Превращение личного конфликта в "исторический", своего характера — в "национальный", индивидуальной судьбы — в "народную". Самое любопытное, однако, состоит в том, что все это действительно оказывается (становится) в конечном счете **историческим** конфликтом, **национальным** характером, **народной** судьбой. Моисей изобретает себе народ по своей мерке и своим потребностям. Он изобретает "избранный" народ, потому что уйти с неизбранным означало бы для него — унизиться, оказаться побежденным, а побежденными Моисеи признать себя не могут органически: они всегда правы! Они замахиваются на историю — ради утверждения этой своей правоты; в крайнем случае, они готовы изогнуть "под себя" историческую необходимость — но что такое "историческая необходимость", как не равнодействующая личных воль, изгибающаяся в сторону самой сильной из них? Мышлению Моисеев свойственно глубинное, подспудное неверие в "объективность" исторического закона — особенность подлинно свободных людей: они еще помнят, что свободу воли даровал им сам Бог, и долго препираются с Ним возле неопалимой купины за свой выбор. Все они — религиозные экзистенциалисты — в том смысле, что верят в формирование людьми своей собственной ситуации в рамках Божьего замысла: может, этот замысел как раз состоит (реализуется) в совместных усилиях обеих высоко препирающихся сторон? И если привить народу идею его избранности и достаточно долго ее повторять, то народ в конце концов превратит ее в свою веру, в закон поведения, в характер, короче — в судьбу. Иными словами, станет избранным.

Изобрести великий народ — как и всякую гениальную идею — трудно лишь в первый раз. Потом уже можно (пусть бессознательно) копировать первоисточник и воспроизводить парадигму. Это, однако, не упрощает, а, скорее, усложняет задачу. Еще Гюго сказал, что второму всегда труднее: он уже знает опасности, подстерегающие первопроходца. Одно дело — провозгласить избранность своего народа, когда нет не только никаких доказательств (кроме казней египетских), но и опровергающих фактов. Когда, так сказать, "все может быть...". И совсем другое — когда идея уже де-

сятки раз оспаривалась как иными мыслителями, так и самой историей. Чем больше реальное бытие своего народа внушает Моисеям сомнений, тем больше взятая ими на себя задача понуждает их абстрагироваться от этого бытия, чтобы получить возможность беспрепятственного моделирования. Благосклонная судьба оберегает их от близкого знакомства с бытием реального народа — они остаются публицистами “поколения пустыни”. Тем легче им выносить эту реальность за скобки своих размышлений о будущем, оставлять ее внизу, как несущественное, поверх чего можно продолжать строить свою утопию. С ее высоты все оставшееся внизу начинает казаться радостно-оптимистическим “дайэйну...”: “Довольно с нас и того, что у нас есть...”

Так рождается и закрепляется зияющий разрыв между перебивающейся с манны на перепелов, сварливой горсткой преследуемых кочевников — и дерзким утопическим вызовом, который от их имени предъявляют истории неугомонные, “примазавшиеся” к народу Моисеи. Так возникает движущая историю народа разность потенциалов между отчаянием и надеждой. История эта приводит к тому, что в конце концов Всевышнему надоедают претензии самоуверенного пророка и Он позволяет утопии стать реальностью. В этом, вероятно, и состоит главный урок парадигмы Моисея.

* * *

Есть в ней — для меня самого — и другой, маленький, личный урок. Долгие годы мне с пугающей регулярностью снился (или полуснился) один и тот же сон. Я видел себя в абсолютном мраке глубокой ночи ползущим по какой-то гигантской кирпичной трубе, цепляясь за стальные скобы, укрепленные на ее поверхности. Что-то говорило мне, что я нахожусь на многокилометровой высоте, совершенно один в темноте: я даже не знаю, нащупает ли нога следующую скобу. Что, если на следующем шаге подо мной окажется пустота? Я даже не смогу узнать: быть может, это всего лишь пропуск в одну ступеньку и достаточно повиснуть на руках, чтобы нащупать опору, — а быть может, опоры нет и дальше... Я лихорадочно обдумываю: можно снять пояс, попытаться забросить его вокруг трубы, прикрепиться, — но вдруг труба огромна в поперечнике? Подождать рассвета? — но какой ужас будет обнаружить

себя на головокружительной высоте, с которой земля кажется уже планетой, и убедиться, что пути вниз нет...

Каждый раз, пробуждаясь от этого сна, я долго думал: что же должен в такой ситуации делать человек? И вот сейчас, дописывая "Парадигму", я вдруг понял: а ничего он не должен делать! Ибо сон этот — не загадка, у которой где-то есть "ответ", а грубоватая аллегория жизни. Во всяком случае, — еврейской жизни. Ее, так сказать, "парадигма"... ..

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

Александр Воронель. "Трепет иудейских забот"

(издание второе, переработанное и дополненное)

Почти музыкальный строй этой книги воспоминаний и размышлений лучше многих рациональных доводов автора доказывает, что наша судьба есть цельность, развертывающаяся во времени и пространстве, и нам надлежит прислушиваться к музыке своей жизни, чтобы не сфальшивить ненароком. Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Широко расхваливавшаяся в Еврейском Самиздате, частично опубликованная в самиздатском журнале "Евреи в СССР", в неполном виде изданная несколько лет назад, ставшая библиографической редкостью, эта книга теперь впервые приходит к читателю в своем полном и завершенном виде.

Цена книги — по заказу — 4 доллара (за рубежом 8 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.

ЛЕСТНИЦА ИАКОВА

Сегодня почему-то принято считать, что религия требуется человеку для уверенности и самоуспокоения. И действительно, мы видим вокруг себя верующих, чей мир ясен и надежен, которые твердо нашли свое место в нем.

Но таковы ли на самом деле истоки веры? Не окружают ли нас сегодня лишь признаки ее упадка? Обратимся к Моисею — пусть эта мощная фигура прояснит нам ситуацию.

Кем был Моисей? Какому народу он принадлежал? Где была его родина? Нелегко однозначно ответить на все эти вопросы. Египтянин по месту рождения и воспитанию, скиталец в Синайской пустыне, пророк и избавитель Израиля от египетского рабства, вождь, не обретший Землю Обетованную, к которой стремился столько десятилетий, национальный герой, само место захоронения которого осталось неизвестным, Моисей — образчик человека в высшей степени "неприкаянного". Он весь — поиск и путь, выпадение из общего правила и пример непринадлежности ничему до конца.

Быть может, он был человеком Неба, его ангелом-посланцем на Земле? И это не так. Пророческая миссия застигает его врасплох, он не готов к ней и отказывается от нее с поразительным упорством. Бог прямо-таки навязывает ему эту миссию. Мы чувствуем раздражение несговорчивого посланника. Похоже Бог отказывается явить ему Славу Свою, показать Лицо Свое; отказывает ему в праве вступить в ту долгожданную землю, куда Моисей шел сам и упорно вел народ. Вся миссия Моисея оказывается направленной на устройство народа: вывод его из земли Египетской, дарование законов жизни и быта, введение в благославенную землю, в которой народ должен поселиться; народ — но не он, Моисей.

Моисей соприкасается и с Землей, и с Небом. Но он не сопричастен ни тому, ни другому. Он не похож на тех фанатичных хри-

стиан, которые тесно сплочены в своих ранних сектах твердой верой в то, что являются небесной общиной, временно испытываемой соблазнами чужой и враждебной Земли. Он не похож и на язычников, этих побратимов земных стихий, коренное население земной тверди, твердо стоящее обеими ногами на родном грунте своих родовых гнезд. И если пристально всмотреться в Библию, то ту же неприкаянность, непринадлежность, экзистенциальную неуверенность и трепет можно обнаружить и у Авраама, и у Иакова, и у Давида-псалмопевца, Давида-героя. Библия пронизана не раз-навсегда данной надежностью, а вечным беспокойством, вечным колебанием между гибелью и торжеством, трепетом души, повисшей между бездной Неба и преисподней.

Можно сомневаться в тех или иных чудесах, описанных в Торе, можно и вовсе не верить ни одному ее слову. Но чем же объяснить тогда, что и сегодня, столько тысячелетий спустя, целая нация — одна единственная — живет именно в этом духовном климате? Почему и сегодня она не чувствует себя уверенно ни на какой земле — даже на своей собственной? (Какой еще народ в мире сомневается в своем праве на свою же страну?) Почему и сегодня этот народ не является “своим” ни в каком содружестве, регионе, клане, коллективе? Почему и сегодня его душу пронизывает все тот же оправданный трепет и бытие его распято между бездной Катастрофы и взлетом Воскрешения? Разве библейские чудеса более невероятны, чем это вечное экзистенциальное чудо, охватившее собой все пространство и время вселенной?

Народ “люфтменчн” (“людей воздуха”) даже в социальной жизни своей чаще всего оказывается чем-то “промежуточным” — посредником между паном и холопами, между королем и подданными. Торговец, адвокат, переводчик — вот он, еврей, посредник между занятиями, людьми, народами. Невыносима эта неустойчивость, ненадежность, беспочвенность. И рвутся евреи преодолеть ее, присоединиться, приобщиться — через социальную активность, революции, искусства, науки, экономику. Хоть у дьявола, но быть в конце концов хоть где-то “своим”, принадлежащим! Но и сам дьявол изрыгает из своего царства, сооруженного на северной земле: “Не мои вы!..”

Даже светский сионизм, который хотел сделать нас народом нормальным и обычным, потерпел крах в содружестве наций,

которое видит в еврейском государстве того же коллективного еврея — чужого и лишнего.

Мы прошли через все времена, эпохи, пространства, состояния и обстоятельства. Прошли и вернулись все к тому же исходному пункту. И вот стоим мы на этой земле, где наш праотец Иаков-Израиль видел в пророческом сне лестницу, основание которой стояло на земной почве, а вершина упиралась в небо. Этот сон сбылся, как никакой другой. Мы все — эта лестница. Лишь касается она земли, лишь дотрагивается до неба. Вся она — между тем и другим, в вечном трепете, в вечной неустойчивости. Но вечна она, эта лестница, потому что только она соединяет мир в единую целостность. Без нее, этой лестницы, все распалось бы и разрушилось.

КО ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ:

СЕМЬЯ ФРАНЦУЗСКОГО ДОКТОРА МОРИСА ГАМБУРГЕРА (ЗАКЛЮЧЕННОГО В СОВЕТСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ) ПРОСИТ ВСЕХ ЕГО ЗНАВШИХ ОТКЛИКНУТЬСЯ. ПИСАТЬ В "22" ПО АДРЕСУ: Р. О. В. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL.

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА ПИСАТЕЛЯ ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГА "ПРОГУЛКА В РАМУ" — 15 ИЗБРАННЫХ РАССКАЗОВ, 250 СТР. ПРЕДИСЛОВИЕ СИМОНА МАРКИША, СУПЕРОБЛОЖКА ХУДОЖНИКА НАТАНА ФАЙНГОЛЬДА.

ЦЕНА КНИГИ В МЯГКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ — 200 ШЕКЕЛЕЙ, В ТВЕРДОМ — 240 ШЕКЕЛЕЙ. ЗАГРАНИЦЕЙ — 8 И 10 ДОЛЛАРОВ СООТВЕТСТВЕННО, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕСЫЛКУ.

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: ELL LUXEMBURG, BAR-KOCHVA, 6/11, JERUSALEM 97875.

ДОКУМЕНТ

ПИСЬМА ЙОНАТАНА НАТАНЬЯГУ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Йонатан Натаньягу погиб в ночь с 3-го на 4 июля 1976 года, командуя ударным отрядом в Энтеббе, во время операции, названной позднее по его имени “Операцией Йонатан”.

Йони был старшим из трех сыновей Бенциона Натаньягу, крупного историка, известного работами о евреях Испании. Дед его — увлекшийся сионизмом ешиботник, деятель еврейского просвещения в Польше — привез семью в Палестину в 1920 году. В 1940 году Бенцион отправился вместе с Жаботинским, последователем которого он был, в Америку для пропаганды ревизионистских идей. Война отрезала их от Палестины. В Америке, в 1946 году, у него родился первенец Йони.

Вскоре после образования государства семья вернулась в Израиль. Детство Йони прошло в иерусалимском квартале Тальпиот, а позднее — в Катамоне, где до сих пор живут его отец и мать. В 1963 году он недолго учился в Гарварде, откуда и отправлено (израильской знакомой) первое из его писем.

Рине Сокольник (23.5.63)

Тебе почти 16 лет. Можешь ли ты поверить, что прожила почти четвертую часть своей жизни? Насекомому, которое живет всего несколько дней, его жизнь, безусловно, представляется огромной. Может, потому и нам кажется, что у нас в запасе вечность? Но мы не вечны и нужно использовать как можно полней отпущенный нам срок, стараться исчерпать жизнь до дна. Как это сделать — не могу тебе сказать. Знаю лишь, что не хотел бы, дожив до какого-то возраста, вдруг оглянуться и обнаружить, что не создал ничего, что подобен всем прочим, что спешат, летят, как насекомые, туда и обратно, ничего не совершают, лишь бесконечно повторяют все ту же рутину и сходят в могилу, оставляя потомство, которое будет повторять бессмыслицу их жизни.

К сожалению, невозможно вернуться в прошлое. До сих пор я убежден, что прекраснее всего жил в детстве, в Тальпите, затерявшись в бескрайних просторах, зарывшись почти с головой в траву в поисках божьих коровок, глядя на окружающий мир, как на чудо, и на каждого взрослого, как на гиганта. Но время

Из книги, подготавливаемой к изданию в “Библиотеке Алия”

это прошло — навсегда. Прошло, минуло, завершилось. Сегодня я смотрю в будущее и мечтаю о предстоящих годах.

Смерть — единственное, что мне мешает. Не пугает, нет, но вызывает любопытство. Это загадка, которую я — как, впрочем, и другие — безуспешно пытался решить. Я не боюсь смерти, потому что не особенно ценю жизнь “просто так”, жизнь вне связи с какой-то определенной целью. И если понадобится пожертвовать жизнью ради этой цели, я сделаю это с радостью.

В июле 1964 года Йони приехал в Израиль для прохождения военной службы, оставив в Америке родителей и братьев.

Любимые папа, мама, Биби и Идо (29.9.65)

И в этом году в праздники я не дома. Опять мы лежим в за-саде на границах в тот час, когда весь Израиль радуется и веселится.

В городе праздник. В освещенных домах слышится музыка, люди не спят до утра. Я тоже не спал до утра — только при этом лежал на земле, темной и холодной ночью, в сплошной тьме, прислушиваясь к каждому шороху и каждому подозрительному движению. Когда лежишь вот так, неподвижно, час за часом, в туче комаров, и смотришь на огни города, где никогда не бывал и не будешь, — вражеского города, который отделяет от тебя только мокрое от росы поле клевера, глаза невольно закрываются и хочется опустить голову на землю и погрузиться в глубокий сон. За тобой монотонно постукивает водяной насос, за благополучие которого ты в ответе, издалека доносятся песни и смех — в каком-нибудь кибуце справляют Новый год, а ты лежишь и считаешь часы: еще восемь часов, еще семь, еще шесть — и ты сможешь подняться, и где-нибудь часа в четыре утра ты наконец начнешь свою “ночь”, и сон охватит тебя, едва голова коснется подушки.

Дорогие папа, мама, Биби и Идо (23.10.65)

Я узнал в армии прелесть жизни. Наслаждение сна, ни с чем не сравнимый вкус воды. Великое значение волевого усилия. Чудеса, которые способен при желании совершить человек. Но любить места, где все это узнаешь, — трудно. И вот теперь я решил “познакомиться” со своей страной. А “познакомиться” — значит узнать в ней каждый камень и каждое дерево.

Я много путешествовал. Я увидел и почувствовал красоту Иудейской пустыни. Мощь скал, вздымающихся вертикально на сотни метров, — скал, по которым вьется, словно тонкий белый ручеек, узенькая тропинка. Ощутил красоту опаленной солнцем сухой земли, белой соли на камне. Понял мощь и героизм Масады, жизнь наших предков в оазисах среди пустыни. Я видел прекрасные места, я видел природу-разрушительницу и природу-созидательницу, все это вошло в меня и позволило мне ощутить жизнь — во всей ее полноте.

Любимые папа, мама, Биби и Идо (15.5.66)

День не имеет начала, длится с восхода солнца через полуденное его полыхание до вечерней прохлады и оттуда — к темноте ночи и дальше — к бледному месяцу и полуночным звездам. Глаза закрываешь после двух часов ночи и снова открываешь с трудом в 4.30, к началу нового дня. Один такой день вызывает у человека едва переносимую усталость, будто вся сила высосана из тела. Два таких дня — и ты забыл, что был у тебя когда-то дом и что есть еще что-то на свете, кроме работы и непрерывного напряжения. Два таких дня — начало вечности. А неделя сменяет неделю со скоростью секунды. Время не ползет, оно бежит. Не успеваешь даже подумать, в чем смысл этих секунд. Время — одна большая глыба.

В прошлом, когда я был рядовым солдатом, я думал, что преодолеваю препятствия высшей трудности. Сейчас, став офицером, я вижу, как ошибался. Раньше я думал, что офицеру удастся отдышать больше солдата — и жестоко обманывался. Каждую из долгих минут тренировок я с ними. Я нахожусь в постоянном напряжении. Забот и ответственности — сверх головы, и все бремя командования — на моей шее.

Во время Шестидневной войны Йони участвовал в прорыве у Ум-Катеф и в захвате Голанских высот. За 4 часа до окончания войны он был тяжело ранен в локоть. Обливаясь кровью, он дополз под обстрелом до расположения своих войск. В Хайфе его дважды оперировали и признали инвалидом войны.

Любимые папа и мама (15.6.67)

... А мне довольно и того, что я жив. Говорю это без всякой иронии. Когда смотришь смерти в лицо, когда имеешь все шансы умереть, когда ты ранен, один посреди выжженного поля, в дыму снарядных разрывов, с перебитой и горящей страшной болью

рукой, истекаешь кровью и больше всего на свете хочешь пить — жизнь кажется дороже и желанней, чем всегда. Ты хочешь ухватиться за нее и продолжать жить, бежать от всей этой крови и смерти, быть живым — живым, хотя бы без рук и без ног, но только дышать, думать и чувствовать.

Семь часов утра в больнице Рамбама в Хайфе. Я сижу один на балконе. После нескольких хамсинных дней подул с моря прохладный ветер. Хорошо здесь.

Проучившись два года — сначала в Гарварде, а затем в Еврейском университете, Йони пришел к выводу, что ему следует вернуться в армию.

Дорогие папа и мама (17.8.68)

... Невольно приходят в голову все те же мысли о прошедшей войне. Как было бы хорошо сказать: "война кончилась". Как было бы просто, если и в самом деле это была бы "прошедшая война". Но это не так. С июня 1967 года я успел так много сделать: женился, поехал в Америку, учился в Гарварде, путешествовал по Канаде, а до этого, по дороге в Америку, побывали мы также и в Париже, а после этого вернулись в Израиль, и я работал, путешествовал и устраивался. И при всем том — преходящей была не война, а все, что за ней последовало.

Вошла в меня какая-то грусть и никак не отвяжется. Не то чтобы она владела мною или управляла всеми моими поступками, но она во мне, она существует, погруженная глубоко внутрь, в хорошо укрытое место. Место это — не пустота, в нем тяжелый осадок. Это как бы тяжелая пустота. Возможно, что это чувство есть не только во мне. Иногда я ощущаю глубину и слышу крик той же пустоты и в других, во всех тех товарищах, что вышли из войны здоровые телом. Мне кажется, все мы раненые, все стали другими, уязвимыми, озабоченными всем, что происходит. Мы стали гораздо старше. Той гармонии, что характерна для молодого человека, больше во мне нет. Хотя я еще молод, силен и уверен в себе и в своих возможностях, но при этом не могу уйти от того факта, что владеет мной какое-то чувство старости. Так как старым в смысле количества лет я никогда не был, то и не знаю, такое ли это чувство, как то, что приходит с возрастом. Так или иначе — это старость, особая старость молодых.

Когда я пытаюсь объяснить себе, почему это так и почему возникло во мне это чувство, я прихожу к выводу, что не только война, убийство, смерть, раненые и искалеченные тому причиной.

Это можно преодолеть. Это, возможно, смягчается временем. Причина — в сознании бессилия, и вызвано оно войной, у которой нет конца. Потому что война не кончилась и, мне кажется, будет длиться и длиться. Июньская война была только одной из битв. Война идет сейчас — сегодня, вчера и завтра. Идет — с каждой миной, с каждым убийством и каждой бомбой, взорвавшейся в Иерусалиме, с каждым выстрелом на севере или на юге. Это “затишье” перед следующей бурей. Не сомневаюсь, что война придет. Не сомневаюсь, что мы победим в ней. Но до каких пор это будет продолжаться? Уничтожить арабский народ мы не сможем: слишком их много и слишком сильная у них поддержка. Понятно, что мы будем бить их снова и снова, и у нас будет полное оправдание бить их каждый раз сильнее. Сознание этого нас радует, но радость это смешана с грустью. Мы ведь молоды и созданы не только для войны. Я собираюсь учиться. Я хочу этого, мне это интересно. Но не могу видеть в этом свое главное предназначение. Даже если занятия наукой — правильное дело — правильное для меня и для Израиля, — я глубоко убежден, что важно не это. Отсюда грусть, о которой я говорил выше, — грусть молодых людей, предназначенных войне, у которой нет конца...

В период службы в особых частях Йони командовал подразделением, которое захватило в плен сирийских полковников, позже обмененных на израильских летчиков, сидевших в сирийской тюрьме. Участвовал он также в рейде на штаб-квартиру террористов в Бейруте.

Любимые папа, мама и Идо (14.1.70)

Трудно писать вам о состоянии духа, в котором я нахожусь. Это моя личная сфера, и мне трудно о ней говорить. Жизнь в армии меня заполняет, вызывает интерес и приносит удовлетворение. Вместе с тем я давно уже перестал быть молодым. Не так по возрасту, как по чувству. Мне кажется, что все молодые люди в армии, которые ежедневно заняты охраной наших границ, ощущают гнет. Это гнет особого рода. Его источник — в лежащем на нас тяжелом бремени. Освободиться от этого гнета нельзя, и, пока ты в армии, он — часть тебя. Гнет приводит к тоске. Странно говорить о молодом парне: этот человек в тоске. Такова наша судьба.

Но ведь одиночество, гнет и тоска — это судьба многих людей. Так в каком же Богом забытом мире мы живем? Так много красоты, величия и благородства есть в нем, но люди губят все пре-

красное, что есть в мире. Видно, мы действительно раз и навсегда забыты Богом.

Во время Войны Судного дня Йони командовал подразделением, сражавшимся на Голанах. После войны он был награжден за спасение раненого офицера, застрывшего на вражеской территории.

Брурии (22.11.74)

Моя Бур, до сих пор я не умею изливать душу в письмах. В сущности, я не делаю этого и с глазу на глаз. Но знай, что когда я говорю: я тебя люблю — я выражаю всего себя.

Не придавай чрезмерного значения словам, когда речь идет о выражении чувств — по крайней мере, в моем случае. Может, со временем это придет.

В моей способности открываться другому человеку произошла, несомненно, большая перемена. Это меня поражает и, если взглянуть со стороны, вызывает любопытство и даже чарует. И я люблю тебя (хотел приписать в скобках: “Это не связано с предыдущим предложением” — но, конечно, это не так — все связано).

Ты пишешь, что я люблю другой любовью. Ты хотела сказать — люблю иначе. И я раздумываю, веришь ли ты в свои слова. Может, я просто выражаю любовь иначе. Я не знаю. Знаю только, что очень тебя люблю. Очень.

Брурии

Девочка моя. Вот ты кто сейчас — девочка. И девочка, и очень моя. И мне хочется тебя обнять и сказать успокоительные, добрые слова — что все будет хорошо, и что будут минуты счастья, длящиеся бесконечно, каждая минута жизни будет интересной, и будет волнение, и идиллия, и буря, и огонь. Что все будет, как неопалимая купина — гореть и не сгорать.

Но я не могу обещать, что так будет, или обещать то, что не в моей власти. Можно обещать в шутку, в игре воображения, а иногда в порыве веры, которая не нуждается в подкреплении делом. На то она и вера. Мы ведь — люди частью хорошие, частью плохие, а в большинстве — то и другое вместе. Некоторые из нас довольны судьбой, а другие все ищут и ищут. Я не знаю, к какой категории принадлежу, так как мысль об этом никогда меня особенно не занимала.

Так что я не могу обещать, что не будет таких дней, как на прошлой неделе. И я не шучу, потому что я слишком занят в той жизни, которой живу, а другой мне не надо.

Мы по-разному устроены. Я живу очень интенсивно, и обычно мне в этом нашем мире хорошо. Есть много вещей, которые мне хотелось бы сделать, но что бы я ни делал, это меня так наполняет, что я забываю думать о другом.

Я не сожалею о путях, которыми не шел. Я миную перекресток и иду своим путем. И если вдоль пути, который я не выбрал, больше красоты, больше цветов, я все же об этом не жалею, потому что это был не мой путь. Наша жизнь — это отдельный мир среди множества других миров, и числу путей нет конца. И каждым путем идут люди, и иногда они встречаются на перекрестке, иногда даже продолжают идти вместе. Зачем интересоваться чужими просторами, когда мы и свой-то затрудняемся одолеть?

Брурии (31.75)

Моя Брур. Я не убираю со стола твоих цветов, так как они принадлежат нам, так как они от тебя, так как я смотрю на них и вспоминаю. Вспоминаю и чувствую, что в горле комок, что тебя — нехватает.

Мне кажется, что мы друг от друга отличаемся, в частности, формами любви. У тебя любовь зависит от обстоятельств и знает подъемы и спуски, иногда очень крутые, а у меня нет спусков, я люблю, как поднимаюсь по склону горы на самый верх, долгим подъемом.

То, что я пишу, правда, но вдруг я вспомнил, что хотя у меня, как правило, нет спусков, но случается внезапный надлом, нечто вроде обвала, чему, обычно, я не даю продолжаться.

Настоящая любовь не кончается, она всегда как море. Почему же я написал, что у меня случается кризис, резкое паденье? Как видно я в действительности не любил в тех случаях, о которых сейчас вспомнил.

Когда я написал, что любовь не кончается, я не забыл, что в некотором смысле она кончается, что конец любви — ее смерть. Она существует, как абсолютная ценность, и в момент, когда она возникает, рождается новая душа, парящая где-то в пространстве. Есть организмы, способные включить в себя две такие любви-души, а есть такие, что начисто переполняются новорожден-

ным бытием. В них нет места для двух, трех и больше любовей-душ, и старые тогда носятся, оставленные, в бесконечном пространстве — но продолжают, однако, существовать.

Дорогие и любимые папа и мама (12.1.75)

Прошло почти одиннадцать лет с тех пор, как я оставил дом и уехал служить в армию, и меня одолела тоска по семье. Как мало нам — сыновьям и родителям — удавалось за эти годы быть вместе! Меняются обстоятельства и вовлекают каждого из нас в струящийся поток жизни, а в результате — настоящая тоска по тихим минутам, по минутам “до того, как все это началось”.

Прямо-таки одолела меня этим ненастным утром настоящая ностальгия. Я тоскую по тому времени, когда сидел против вас с Биби и Идо на кухне за завтраком, когда мы были подростками, или — погружаясь глубже в прошлое — по пасхальному сидеру со старым Клаузнером в Тальпите, или по зажиганию ханукальных свечей и пению “Маоз цур”, или по субботним трапезам со свечами и благословением на улице Порцим, или... И картины возникают перед глазами, сменяют друг друга, толпятся вереницей и откладываются в сознании навсегда.

В этот момент я останавливаю бег вперед, забываю про необходимость закончить работу, перестаю думать о положении страны, о том, что еще надо сделать, прекращаю почти безумное стремление к действию, останавливаю бегущее время, прекращаю все. Останавливаюсь и открыто признаю: я хочу вернуть свою жизнь в Тальпите, в полях с божьими коровками, в анемонах, в доме с решетками и с таинственным двором, с сараем в углу, с курятником соседа Берковича и с двором сумасшедшего Йешуа.

И смотрите: даже это погружение в прошлое, в лоно любимой семьи, в чары детства — возможно сегодня только на миг.

Сейчас утро, и время, как всегда, жмет, и долг путь.

Не беспокойтесь обо мне. Мне хорошо.

Очень вас любящий Йони.

Перевела с иврита Майя Улановская

УРОКИ ЗАПАДА

Профессор

Эдуард Александер

ЖУРНАЛИСТЫ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ

(технология клеветы и дезинформации)

Скандалное пренебрежение правдой, которое сопровождало западные репортажи о ливанской войне и особенно сообщения из Бейрута, заставило вспомнить обвинения, предъявленные более года назад руководителем израильского государственного пресс-бюро Зеевом Хафецем, который заявил, что значительная часть западной прессы пользуется двойными мерками при освещении арабо-израильского конфликта: замалчивает преступления арабов, страшась их террора, и в то же время злоупотребляет той свободой, которая существует в демократическом израильском обществе. Хафец напомнил, в частности, как западная печать побоялась сообщить о том, что пять американских корреспондентов были захвачены террористами в Бейруте и в течение суток подвергались всяческому запугиванию.

Ответы на эти обвинения легко было предсказать. "Нью-Йорк таймс" с редкой для нее скромностью заметила, что арест ее корреспондентов "не представляет собой настоящей новости", — хотя легко представить, какой взрыв негодования вызвал бы у Энтони Льюиса и Джеймса Рестона арест американских журналистов в Израиле! "Вашингтон пост" после двухнедельного молчания признала, что ее бейрутский корреспондент Джонатан Рэндэл действительно был "задержан", но тут же добавила, что такой ветеран журналистики, как Рэндэл, конечно же не станет придавать серьезного значения такому "ничтожному инциденту"...

Обе эти газеты — не новички в деле искажения истины, когда речь заходит об ООП. И все же объяснять их поведение одним лишь страхом недостаточно. Разве только страх был причиной того, что американское телевидение в день убийства Садата наемкнуло зрителям, что это убийство было вызвано "израильской несговорчивостью в палестинском вопросе"? И разве страх заставил журнал "Тайм" (вот уже много лет ведущий фактическую войну против Израиля) в день избрания Бегина в мае 1977 года обратить внимание своих читателей на то, что по-английски фами-

лия "Бегин" рифмуется с "Фейгин" (отвратительный еврейский персонаж из "Оливера Твиста"), а накануне приезда Бегина в Вашингтон в 1981 году призвать США "вмешаться во внутренние дела Израиля" (видимо, для установления там режима, более симпатичного руководителям журнала)? И разве страх заставил "Ньюсуик" вынести на свою обложку звезду Давида, образованную из скрещенных ружей?

Некоторые газеты (вроде той же "Вашингтон пост" или "Кри-стиан сайенс монитор") и телекомпания (вроде "Эй-Би-Си") считают своим долгом неизменно изображать Израиль как этакую экспериментальную лабораторию сатаны со столицей не в Иерусалиме, а в Содоме или Гоморре. Они столь неутомимо пичкают западных граждан сообщениями о всевозможных проявлениях жестокости, фанатизма, несправедливости и злобности израиль-тян, что этим гражданам остается лишь удивляться, откуда у такого маленького народа столько энергии для свершения всех этих геракловых подвигов зла. Для многих западных журналистов Израиль стал своего рода площадкой для моралистических упраж-нений, спортивной школой, в которой они развивают свои этиче-ские мускулы, изрядно одрябшие от неупотребления за время работы в других странах. Стоит израильтянам арестовать терро-риста (которого "Тайм" конечно же именует "политическим узником") или отогнать бедуинских овец с государственной земли, как мир немедленно извещается об этом под аршинными заголовками. Хаим Герцог напомнил случай, когда лондонская "Таймс" не нашла на своей первой странице места ни для ирано-иракской войны, ни для советских зверств в Афганистане, ни для сообщения об убийстве 450 избирателей на прокоммунистической Ямайке и все потому, что поспешила вынести вперед "сенсационное сообщение" о том, что на дороге в Рамот верующие бросили несколько камней в неверующих. Когда аятолла Хомейни вернул-ся из Парижа в Тегеран, чтобы возглавить иранскую революцию, "Нью-Йорк таймс" сообщила об этом на третьей странице, в крохотной заметке, — потому что на первой странице целых четыре колонки (!) были отданы куда "более важному" известию — о соз-дании еще одного поселения в Шомроне. Вполне можно поверить израильским журналистам, утверждающим, что Израиль является вторым по объему поставщиком новостей для печати всего мира.

Впрочем, бывают времена, когда в Израиле ничего не случается, и тогда журналисты сами изобретают соответствующие "новости".

В сентябре 1977 года Барбара Уолтерс преподнесла слушателям образчик такой самодельной "сенсации", заявив, что Арафат в интервью с ней высказал готовность признать Израиль и резолюцию 242. Увы, в ходе последовавшего затем интервью слушатели узнали, что Арафат "выражает готовность" на "независимое палестинское государство" и "новую резолюцию", которая заменила бы резолюцию 242. О признании Израиля госпожа Уолтерс так и не удосужилась его спросить.

Любопытно, что при всем этом антиизраильские журналисты непрерывно твердят, будто в американской прессе "невозможно критиковать Израиль", поскольку, мол, эта пресса прямо или косвенно контролируется "еврейским лобби". Когда бывший руководитель комитета начальников штабов генерал Браун заявил, что евреи контролируют всю страну через свои банки и печать, Эрик Севарейд буквально из кожи вон лез, чтобы доказать это обвинение. При этом он изображал себя таким мужественным Давидом, поднявшимся на борьбу с еврейским Голиафом, заявив, что "в этой стране опасно поддержать генерала Брауна, потому что на смельчака тотчас обрушится подлинная буря". Видимо, буря обрушилась на него весьма деликатно, потому что три года спустя миллионы американцев снова услышали, как он возмущается Израилем, который "с помощью своих соотечественников в США контролирует американскую внешнюю политику". Невредимым он оставался и еще через два года, когда, выступая по телевидению ("контролируемому еврейским лобби"!), обвинял Израиль в агрессивности, мании величия и разбазаривании денег американских налогоплательщиков.

Другим пропагандистом мифа в "еврейском контроле над печатью" является Ник Тимеш из "Лос-Анджелес таймс". В октябре 1977 года он использовал свою колонку в этой газете, чтобы обвинить "еврейское лобби" в том, что оно "подрывает свободу слова в Соединенных Штатах". Когда ему предложили объяснить тот факт, что он (наряду с Анной Гейер, Эвансом и Новаком, фон Хоффманом, Энтони Льюисом, Говардом Смитом и целой армией им подобных) тем не менее ухитряется трубить о "еврейском терроре", а заодно назвать хотя бы двух-трех журналистов, которые защищали бы Израиль с такой же страстностью, с какой он нападает на него, Тимеш предпочел уклониться от ответа. Доказательства — не самая сильная сторона его журналистского "таланта".

Выдумка о “еврейском контроле над прессой” — расхожий миф антисемитского сознания. В британской прессе он бытовал уже в мандатные времена. Кристофер Сайкс, историк мандатной Палестины, крайне враждебно относившийся к сионизму и к “сионистской пропаганде”, тем не менее вынужден был признать в своей книге, что проарабские круги в тридцатые-сороковые годы точно так же твердили о “еврейском контроле над британской печатью”, хотя в действительности “арабы имели поддержку Нортклиффа, Ротермира и Бивербрука”, то есть тех “баронов печати”, которые на деле владели всей английской прессой, и потому “имели такие преимущества в пропаганде, каких никогда не имели евреи”. Кто бы ни владел сегодня американской прессой (а евреи, прямо или косвенно, владеют всего тремя ее процентами, причем не все из них — сторонники Израиля), не приходится сомневаться в том, кто владеет ее симпатиями. Тем не менее не далее, как в августе прошлого года Александр Кокбэрн писал в “Нью спектейторе” об “изумлении, которое вызывают трусливые американские репортажи из Израиля, демонстрирующие, что печать Соединенных Штатов в общем и целом покорно следует сионистским бредням”.

С этим ритуальным обвинением евреев в попытках заткнуть рот критикам Израиля связана и журналистская практика “превентивных ударов” по “врагу” — например, таких, какие предприняли весной 1978 года “Нью-Йорк таймс” и “Вашингтон пост”, заявившие, что американские евреи якобы обвиняют Бжезинского в антисемитизме. При этом обе газеты не назвали никаких конкретных “виновников”. Когда же Уильям Сафир по собственному почину взялся расследовать эту историю, выяснилось, что источником информации был сам Бжезинский, который сообщил журналистам, что “некоторые люди” считают его антисемитом. К такому приему любит прибегать Джеймс Рестон: заранее предупредив, что “друзья Израиля” (как он прозрачно именуется евреев) “обвинят его в антисемитизме”, он тем самым развязывает себе руки для безнаказанной кампании против “израильской политики” и “еврейского лобби”. Попробуйте после этого назвать его антисемитом! Он ведь предупреждал...

Когда Стоун и К^О обвиняют евреев в контроле над американской прессой и даже правительством, в этом, конечно, нет ни грана правды. Но что правда — это непропорционально большая роль журналистов-евреев в войне против Израиля. Такие еврейские журналисты, как сам Стоун и его коллеги Норман Казинс и Энто-

ни Льюис, неизменно выступают в роли защитников "первоначального сионистского идеала", который, дескать, "грязнят" и "пятнают" нынешние израильские сионисты, в роли защитников "возвышенных идеалов иудаизма" от нынешних израильтян, "променявших" свое моральное первородство на чечевичную похлебку насилия. В апреле 1978 года, когда израильские самолеты бомбили палестинские базы в Бейруте, Казинс писал, что это "противоречит основам еврейской морали" и "угрожает положению еврейского народа во всем мире". Конечно, бомбардировка ооповских баз — грязное дело, но почему? Да прежде всего потому, что, как заметил уже во время ливанской войны Джордж Уилл, "ООН прячется за спинами тех самых детей, которых Арафат целует перед американскими телекамерами". Но западная печать многие годы всячески избегала об этом упоминать, а когда это стало больше невозможным, постаралась сообщить об этом как о "факте", не давая ему никакой моральной оценки — как, например, Роберт Фиск в репортаже из Бейрута: "Палестинцы устанавливали свои зенитные орудия в школах и жилых домах... и один боец палестинского сопротивления, которого я знал как глубоко интеллигентного, мужественного и честного человека, сказал мне: "Мы никогда не уйдем из Бейрута, а если израильтяне войдут в город, мы уничтожим его вместе с ними; если понадобится, мы уничтожим весь Ливан".

Стоун и Казинс специализируются на доказательстве того, что безропотно шедшие в газовые камеры евреи "чище" и "моральней", чем нынешние израильтяне, с оружием в руках защищающие свою жизнь. Другие еврейские ненавистники Израиля упражняются на пресловутом "фанатизме израильского религиозного меньшинства" — так, Стивен Розенфельд назвал поселенцев Иудеи и Шомрона "дикими фанатиками", которые препятствуют созданию палестинского государства, а тем самым — мира на Ближнем Востоке. Третьи избрали своей специальностью нападки на "черный Израиль". Боб Саймон, сообщая об израильской избирательной кампании 1981 года, сетовал на то, что идеалы европейского еврейства — социализм, например, — утрачивают привлекательность в глазах израильтян и вытесняются "сефардским популизмом" и "накалом религиозных страстей"; Анна Гейер в той же связи писала о "жестоким, аморальном и кровожадном" характере израильских сефардов и много распространялась на тему о том, что евреям грозит утратить в глазах "просвещенного

мира" свою "историческую репутацию" либералов и "голубей".

Люди, которых Кафка некогда назвал "евреями для витрины", изо всех сил стараются показать Западу, что "отнюдь не все евреи поддерживают Израиль". Хотя сторонники Израиля составляют едва ли не 99% американского еврейства, пресса поднимает на щит не это молчаливое большинство, а крикливое антиизраильское меньшинство. Стоило Артуру Герцбергу намекнуть, что его понимание сионизма не совпадает с нынешней политикой израильских руководителей, как "Нью-Йорк ревью оф букс", уже полтора десятилетия воюющая с Израилем, немедленно предоставила ему свои страницы для нападков на израильское правительство.

В этом "суде над Израилем" роль главных свидетелей обвинения играют зачастую сами израильтяне — представители крайней израильской "левой". Пресса и телевидение представляют их как выразителей израильского общественного мнения. Так, Ури Авнери, редактор скандального израильского еженедельника "Аолам Азе", появляется на американских телеэкранах столь часто, что многие зрители считают его лидером одной из ведущих партий Кнессета (каковым он не является). Во время ливанской войны он взял у Арафата интервью, настолько пропитанное грубой лестью и подхалимством, настолько пустое и некритичное, что его постыдилась бы опубликовать даже школьная стенгазета; тем не менее оно было так много раз перепечатано американской прессой, что Авнери превратился с ее помощью чуть ли не в фигуру международного значения. Телевизионная программа "С учетом всего..." страстно возлюбила Фелицию Лангер, известную коммунистку и защитницу всех арестованных террористов, и неизменно представляет ее как "известного израильского адвоката"; то, что этот "адвокат" говорит всегда и только о "преступлениях" своего правительства и народа — разумеется, лишь "случайное стечение обстоятельств". Среди антиизраильских журналистов популярен Израиль Шахак, экстремист из бывшей маоистской группы Мацпен; газеты изображают его как выдающегося ученого, который "в силу морального долга" вынужден отрывать от своих пробок, чтобы раскрывать миру глаза на "злодеяния" своей страны; устроители проарабских лекционных турне, неизменно приглашающие Шахака, рекламируют его как человека, чей "израильский патриотизм вне всяких подозрений". Стоит, однако, какому-нибудь еврею выступить в защиту Израиля, как те же журналисты

тотчас объявляют его пристрастным на том основании, что он — еврей. Анна Гейер посвятила слухам о пытках в израильских тюрьмах больше строк, чем все остальные американские журналисты вместе взятые; но, когда в “Нью-Йорк таймс” появилось обоснованное опровержение этих слухов, она немедленно дисквалифицировала его по той причине, что оно было написано двумя евреями.

Все эти журналисты и их подголоски в Израиле в своих выступлениях используют одну и ту же, изобретенную в Москве и подхваченную арабами, формулу, по которой израильтяне — это новые нацисты, которые уничтожают “настоящих евреев”, то бишь бездомных палестинцев. (Впрочем, Шахак пошел даже дальше: в октябре 1979 года он выступил с пространной статьей, в которой оправдывал Сталина и называл “нацистами” советских диссидентов вроде Буковского.) Эта формула стала расхожим приемом всех воинствующих антиизраильтян. Тимеш назвал утверждения Бегина о праве евреев селиться в Иудее “гитлеровскими речами”. Нед Темко из “Кристиан сайенс мόνитор” начал свою статью “Битва за Палестину” напоминанием о палестинских арабах — этих “евреях арабского мира”, мечтающих о возвращении в “свой” Иерусалим. Дуг Марлет из “Найт ньюс сервис” заявил, что с фотографий жертв газовых камер в “Яд-Вашем” на него “смотрят глаза палестинских беженцев”. Джонатан Рэндэл поведал читателям “Вашингтон пост”, что палестинцы живут в лагерях, являющихся “копией Освенцима и Дахау”. А писатель Джон Апдайк выразил глубокое сожаление в связи с тем, что формула: “палестинцы — это евреи сегодня” — “редко находит отражение в американской печати” (видимо, потому, что эта печать “контролируется сионистами”?).

Если Апдайк имел претензии к американским журналистам, то, вероятно, сменил гнев на милость после ливанской войны. С первых ее дней началась невероятного накала пропагандистская война западной прессы против Израиля. Открылась она изобретением пресловутой фантастической цифры “600.000 бездомных”, опубликованной Международным Красным Крестом (который получил ее от палестинского Красного Полумесяца, который в свою очередь возглавляется братом Ясера Арафата). Эта цифра, вопиюще абсурдная, поскольку речь идет о районе с общим населением в 500.000 человек, тем не менее оказалась необычайно притягательной для антиизраильских журналистов — по той самой

причине, по которой она была первоначально изобретена — 600.000 невольно напоминает о 6.000.000! Вот почему она продолжала фигурировать в репортажах многих журналистов (например, Роберта Фиска из “Таймса”) и после того, как (по словам Давида Шиплера) “всем стало очевидно, что эта цифра сильно преувеличена”. Газета британских коммунистов “Морнинг стар” 11 июня опубликовала редакционную статью “Остановить геноцид” и под аршинными заголовками поместила высказывания Олафа Пальме, Папандреу и Крайского, которые утверждали, что евреи уничтожают палестинский народ точно так же, как некогда нацисты уничтожали народ еврейский. Николас фон Хоффман в лондонском “Спектейторе” сравнил действия израильтян в Ливане с действиями нацистов в Лидице и выразил надежду, что “американцы наконец поймут, что израильское правительство превращает звезду Давида в подобие свастики”. Постепенно формула стала такой затверженной, что проникла даже в те места, где вообще никогда не слышали ни о евреях, ни о нацистах, и малайзийская газета “Нью Стрэйтс таймс” 29 июня писала: “Жестокие попытки израильтян уничтожить палестинцев провалятся точно так же, как дьявольский гитлеровский план “окончательного решения еврейского вопроса”. Долгие месяцы западная пресса только и писала, что о судьбе “несчастных палестинских беженцев” — и это на фоне поразительного, в течение долгих лет, ее равнодушия к судьбе десяти миллионов людей, перемещенных Советским Союзом после Второй мировой войны, трех миллионов афганских беженцев и сотен тысяч беженцев из Камбоджи и Вьетнама (не получающих, кстати, в отличие от палестинцев, помощи УНРРА).

Другим, столь же расхожим стереотипом стало утверждение, будто Израиль является виновником чуть ли не всех конфликтов в мире (не говоря уже о Ближнем Востоке). Бывший заместитель государственного секретаря Болл, желанный участник всех радио- и телепередач, где требуется “эксперт по Ближнему Востоку”, обвиняет Израиль во вторжении русских в Афганистан, в иранской революции и ирано-иракской войне. Однажды Абба Эвен с удивлением отметил, что “Болл недавно целых шесть минут (!) говорил по телевидению, ни разу не упомянув Израиль”. Эвен рано обрадовался: буквально через несколько дней Болл выступил с очередным обвинением — на сей раз Израиль у него оказался причиной американских затруднений в области энергии и обороны. Ливанская война явилась для Болла “очередным

доказательством того, что США доверили формирование своей внешней политики Израилю”, — чем еще объяснить “неспособность американских руководителей понять, что никто не вправе (!) ожидать от ООП, что она откажется от своего намерения уничтожить Израиль”. Еще раньше, когда началась ирано-иракская война, журнал “Тайм” тотчас нашел “надежный” (хотя и анонимный!) источник в госдепартаменте, который заявил, что эта война началась и будет продолжаться по причине “отказа Израиля решить палестинскую проблему”.

Этой же причиной антиизраильская пресса “объясняет” — и оправдывает — палестинский террор. В одной из редакционных статей “Кристиан сайенс монитор” очередной акт этого террора приводился как доказательство “настоятельной необходимости решить палестинский вопрос”. Барбара Уолтерс в интервью с Эзером Вейцманом призвала Израиль “подставить другую щеку” в духе христианского смирения. Западная печать буквально наводнена статьями, перечисляющими “вполне понятные психологические причины”, которые “вынуждают” палестинцев прибегать к террору против израильских женщин и детей. В Англии, где возмущаются террором ИРА, стараются не замечать очевидную параллель между ирландскими и палестинскими террористами; зато с невероятным искусством “открыли” другую параллель: 20-го августа прошлого года “Дейли экспресс” писала, что “противодействие американских евреев точно так же мешает президенту Рейгену оказать давление на Бегина, как усилия американских ирландцев поддерживают существование ИРА”. Когда в феврале 1978 года американская компания “Эй-Би-Си” посвятила часовую программу проблеме захвата заложников для политических целей (звездой программы была, разумеется, ООП), то ведущий принимал, как само собой разумеющееся, что в любом акте террора главный пострадавший — не жертва, не изуродованный ребенок или убитая женщина, а сам террорист, требования которого подлежат немедленному удовлетворению. В ноябре того же года та же станция в программе “Террор в Святой земле” заявила, что “палестинцы вынуждены убивать людей”, потому что их, мол, “отказываются выслушать” и этот отказ “лишь подкрепляет их убежденность, что насилие является их единственным оружием”. Это было сказано после одного из самых зверских преступлений молодчиков из ООП — нападения на израильский автобус на приморском шоссе. Тем не менее формула, оправдывающая террор, осталась неизмен-

ной, и в сентябре 1981 года канцлер Крайский возложил вину за убийство евреев в венской синагоге на "государство Израиль"; а Анна Гейер косвенно оправдала убийство пяти еврейских студентов в Хевроне тем, что террористы были "оскорбленной стороной" — евреи, видите ли, поселились в Хевроне вопреки "давней неприязни к ним хевронских мусульман".

Применение этой формулы становится еще более эффективным благодаря использованию специфической терминологии. В арабо-израильском конфликте существуют два словаря: евреи говорят "управляемые территории", "Иудея и Шомрон", "террористы", "палестинские арабы"; арабская печать пишет об "оккупированных территориях", "Западном берегу", "бойцах палестинского сопротивления", "палестинцах". Какими же терминами пользуется "объективная" западная печать? Она говорит по-арабски: оккупированные территории, Западный берег, бойцы ООП, палестинцы. К той же категории средств подспудного воздействия относится и употребление слова "умеренный". Оно, например, настолько прочно привязано к Саудовской Аравии, что можно подумать, будто это какая-то ее географическая особенность. А журнал "Тайм" дошел до того, что назвал ее даже "демократией в пустыне" — это ту самую Саудовскую Аравию, которая призывает к "священной войне" против Израиля и является одной из самых отвратительных расистских стран во всем мире. Затем идет, конечно, "умеренная" Иордания, умеренность которой состоит, видимо, в том, что она одновременно берет оружие и у США, и у СССР, отказывается от мирных переговоров и срывает все попытки ближневосточного урегулирования. Об "умеренном" Арафате и его "умеренных сторонниках" даже упоминать не стоит — эти термины в американской печати приобрели уже характер постоянных эпитетов. Назвать "мистера Арафата" просто террористом не решается никто. Зато "Би-Би-Си" предупредила своих слушателей, что, "если план Фахда будет отвергнут, мистер Арафат может счесть, что его умеренность не оплачивается", а Роберт Фиск в одном из репортажей из Бейрута, выразив положенное ритуалом уважение к "мистеру Арафату и более умеренным лидерам ООП", долго объяснял, что револьвер на поясе одного из этих "более умеренных" лидеров означает всего лишь "символ кажущегося экстремизма". "Ньюсуик", комментируя итоги ливанской войны, сетовал на то, что она "ослабила умеренные элементы ООП" и

может “вынудить” эту организацию “перейти (!) на путь террора”; а “Дейли телеграф”, напротив, указывала, что теперь “мистер Арафат может сформировать правительство из более умеренных лидеров вроде него самого”. Террористов западная печать делит только на “более” и “менее умеренных”; когда же речь заходит об израильянах, то здесь в ходу лишь сугубо орнитологическое деление — на “ястребов” и “голубей”. То же относится ко всем другим — кроме, разумеется, ООП. “Вашингтон пост” писала о попытках израильского правительства “поощрить выдвижение “умеренных” элементов на Западном берегу”; выходит, когда палестинский террорист чуть менее экстремист, чем прочие, он уже умеренный, когда же речь идет об арабских крестьянах, пытающихся освободиться из-под ига террористов ООП, они заслуживают звание умеренных лишь в кавычках. Напрасно было бы искать в западной прессе упоминаний о том, что представитель “умеренной” Саудовской Аравии в ООН Джамиль Баруди заявил, будто Катастрофа европейского еврейства вообще никогда не имела места, а представитель “умеренной” Иордании в той же организации утверждал, что “евреи контролируют, манипулируют и эксплуатируют все остальное человечество с помощью контроля над деньгами и ресурсами западного мира”.

Что же является причиной этой журналистской войны против Израиля? Какую цель она преследует, и достигает ли она этой цели?

Ответы на эти вопросы выходят за рамки данной статьи. Можно лишь заметить, что жажда нефти, видимо, превосходит у многих жажду справедливости; что идеология антисемитизма, ушедшая в подполье после Второй мировой войны, сейчас снова вышла на поверхность; и что наконец сами евреи убедили мир в том, что их следует судить по более строгим меркам, чем прочие народы. Что же касается результатов этой журналистской войны, то, судя по данным опросов, она не оказала желаемого воздействия: даже во время ливанских событий, когда телевидение непрерывно бомбардировало зрителей кадрами разрушений и смерти в Ливане, американское общественное мнение оставалось настроенным в пользу израильяна. Простые люди вообще порой благодаря своему здравому смыслу доверяют газетам и телевидению куда меньше, чем так называемые “образованные” — недаром Орвелл когда-то говорил, что “есть вещи, столь очевидно нелепые, что поверить им могут только интеллектуалы”. Но даже Орвелл не считал

это гарантией будущего. Государство Океания, которое он изобразил в своем романе "1984", основано на убеждении, что современная технология в сочетании с полным пренебрежением моральными принципами позволяет добиться любой степени господства над человеческим разумом, историей и прежде всего языком. Орвелл понимал, что свободная пресса — одна из гарантий демократических свобод. Но та же пресса может использовать эту свободу для разжигания страха и ненависти, когда она отказывается от своей профессиональной беспристрастности ради сектантской предвзятости и тем самым опасно дезориентирует общественное мнение.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Дж. Кармайкл "ТРОЦКИЙ"

Впервые на русском языке — увлекательная биография одного из вождей большевистской революции. Автор подробно рассказывает о внутрипартийных и межпартийных до- и послереволюционных интригах и борьбе, восстанавливает подлинную картину Октябрьских событий и прихода Сталина к власти, воссоздает зловещие заседания Политбюро и съездов, прослеживает почти детективный сюжет террористических "чисток" и политических убийств. На этом широком фоне ярко вырисовывается противоречивая фигура честолюбивого еврейского подростка, ставшего великим трибуном, гениального организатора и беспомощного политика, поразительно-го провидца и одинокого человека — Льва Троцкого.

"Moscow—Jerusalem, P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel,
цена 14 долл.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

МАРК ГИРШИН. БРАЙТОН-БИЧ

Широкое сатирическое полотно, запечатлевшее жизнь и судьбы "новых американцев" из Одессы, Киева, Москвы, собравшихся в грязном нью-йоркском квартале Брайтон-Бич, где жулики преуспевают, а честные люди поневоле становятся жуликами.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 5 долларов. за рубежом — 10 долларов.

Предварительные заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

РУССКИЕ ВЕДУТ В СЧЕТЕ...

Выступление министра обороны Каспара Вайнбергера в конгрессе в апреле прошлого года вызвало у конгрессменов взрыв негодования. Его заявление о том, что Советский Союз обогнал Соединенные Штаты в конструировании межконтинентальных ракет, было равносильно признанию беспрецедентного провала американской разведки. У многих американцев возникли серьезные опасения по поводу способности их разведки следить за развитием советской военной техники, а при наличии соглашений о разоружении — контролировать их выполнение.

В 1961 году Советский Союз — при всех его громогласных угрозах и хвастливых заявлениях — имел на вооружении всего четыре громоздкие и малонадежные межконтинентальные ракеты. ЦРУ заверяло тогда, что состояние советской ракетной техники таково, что в обозримом будущем она не представляет никакой серьезной угрозы стремительно развивающейся американской ракетной мощи. ЦРУ заверяло также, что оно способно перехватывать любую информацию, связанную с дальнейшими советскими ракетными испытаниями, и тем самым контролировать их прогресс.

Оба эти заявления не выдержали испытания временем. Несмотря на непрерывное наблюдение, проводимое с помощью новейшего американского электронного оборудования на земле и в космосе, Советский Союз сумел создать ракеты с многозарядными боеголовками, способные поразить любые цели в США — и при этом не вызвать ни малейшего беспокойства ЦРУ.

Как мог пройти незамеченным такой серьезный скачок в развитии советской военной техники?

Объяснение кроется, возможно, в иллюзиях американских аналитиков, всегда склонных несколько недооценивать уровень советского военного развития.

Однако тщательный повторный анализ разведывательных данных показал, что главная причина провала — не столько ошибки американской разведки и предубеждения ее аналитиков, сколько

систематическая кампания дезинформации, которую вел Советский Союз. На протяжении многих лет он поставлял Соединенным Штатам ложную информацию через американские спутники и другие каналы. Усыпив этим бдительность ЦРУ, советская контрразведка сумела внушить самоуверенность и притупить бдительность тех в Америке, кто принимал решения по стратегическому планированию. А это в свою очередь привело к решающему сдвигу в балансе стратегического ракетного вооружения.

Недавно в Национальном Совете Безопасности было выдвинуто предложение создать единый координационный разведцентр, который будет собирать и сопоставлять данные, поступающие от тайных агентов, следящих камер, телеметрического оборудования и перехваченных закодированных сообщений. Странники этого предложения уверены, что таким путем можно обеспечить достоверность получаемой ЦРУ информации. Однако это предложение вызвало разногласия в Совете. Далеко не все убеждены в моральной правомочности мер и далеко не все понимают, что заблуждения ЦРУ — результат планомерной кампании дезинформации со стороны СССР. Дело дошло до того, что заместитель директора ЦРУ Бобби Икман даже вышел в отставку в знак протеста против централизации деятельности разведки.

Соединенные Штаты вкладывают в работу ЦРУ миллиардные средства. Никто не сомневается в эффективности новейших технических средств разведки. И тем не менее возникает ощущение неспособности ЦРУ противостоять советской контрразведке в важнейших для национальной безопасности вопросах. Можно ли быть уверенным, что в 80-е годы не повторятся драматические неудачи 70-х годов?

Обман противника не является чем-то новым в политической практике. Еще в шестнадцатом веке Маккиавелли говорил, что есть два способа добиться желаемого: сила или хитрость. А поскольку применение силы всегда связано с риском и затратой средств, то Маккиавелли настоятельно рекомендовал "никогда не пытаться завоевать силой то, что можно получить хитростью". Политическая философия Маккиавелли, пожалуй, еще более актуальна в наш атомный век.

Политический обман направлен на то, чтобы сформировать у противника ложное представление о действительности. Он широко применяется в военное время, когда противника нужно ввести в заблуждение относительно истинного потенциала во-

оруженных сил и их намерений. "Все военные действия, по сути, опираются на обман", — писал древнекитайский стратег Сун Цу. Но и в мирное время обман, хоть и не столь явно выраженный, является эффективным средством изменения международного баланса сил.

Ярким тому примером является случай, произошедший в 60—70-е годы. Офицер КГБ, работавший при секретариате ООН, предложил ЦРУ свои услуги. Он заявил, что КГБ присваивает часть его оклада и что за соответствующее вознаграждение он готов поставлять секретную информацию о целях и задачах советской разведки. Он сообщил, что на него возложена задача создания в Нью-Йорке советской шпионской сети для выведывания секретных данных по вопросам американской обороны, в частности — ракетной техники. ЦРУ приняло его условия и зарегистрировало его как двойного агента под псевдонимом "Федора".

Почти в то же время в ЦРУ был принят еще один двойной агент, работавший на советскую военную разведку под эгидой ООН. Он был зарегистрирован под кодовым именем "Тофат". На протяжении последующих десяти лет "Федора" и "Тофат" снабжали ЦРУ информацией, которую Эдгар Гувер иногда представлял непосредственно на рассмотрение президента или Национального Совета Безопасности. Бывали случаи, когда эти доклады коренным образом изменяли оборонную стратегию США. Так, в конце 1969 года на основании сообщений этих завербованных агентов Гувер доложил президенту Никсону, что СССР готовится к осуществлению ударной программы развития химико-бактериологического оружия. По сообщению "Федоры", советские руководители были потрясены, когда выяснилось, что понадобятся годы громадных усилий, чтобы преодолеть серьезное отставание СССР в этой области. В целях экономии средств на советскую разведку возложили задачу добыть данные о соответствующих американских достижениях.

Как раз в этот период Никсон обдумывал целесообразность одностороннего сокращения производства химико-бактериологического оружия. Из докладов "Федоры" и "Тофата", утверждавших, что СССР значительно отстает в этой области, можно было заключить, что, заморозив свое химико-бактериологическое вооружение на существующем уровне, США сохраняют явное превосходство над СССР и сэкономят большие средства. 25 ноября 1969 года Никсон провозгласил, что США прекращают производ-

ство этих видов оружия, и призвал СССР последовать американскому примеру. Вскоре затем он с удовлетворением принял сообщения двойных агентов о том, что СССР отказался от “ударной программы”.

Только четыре года спустя, когда Израиль в ходе Войны Судного дня захватил советские трофеи, обнаружилось, что ЦРУ явно недооценивало советские возможности ведения химической войны. Анализ захваченного израильянами химического оружия продемонстрировал отставание США в этой области. Более того, выяснилось, что это отставание имело место уже в 1969 году. Следовательно, доклады “Федоры” и “Тофата” были неточными, возможно — даже намеренно фальсифицированными.

Этот эпизод усилил подозрения тех, кто с самого начала не доверял “Федоре” и “Тофату”, и среди них — заместителя директора ЦРУ Уильяма Салливена. Однако Эдгар Гувер продолжал настаивать на достоверности обоих источников. Только после кончины Гувера и пересмотра всех источников информации выяснилось, что оба двойных агента намеренно дезинформировали ЦРУ. Все эти годы они работали под контролем КГБ. К моменту разоблачения оба они уже вернулись в СССР.

Такого рода деятельность практикуется издавна, но сам термин “дезинформация” возник лишь в годы Первой мировой войны, когда при германском генеральном штабе была организована “Служба дезинформации”. В отличие от обычной информации, которая может по случаю оказаться ложной, дезинформация представляет собой сознательное формирование у противника ошибочных представлений — с тем, чтобы воздействовать на его политику. Но если во время Первой мировой войны дезинформация (преимущественно немецкая) ограничивалась передачей ложных сведений в радиотрансляциях, то теперь ее объем и виды значительно расширились.

Советская разведка очень быстро освоила этот вид борьбы и приспособила его к своим целям, дав ему новое определение. Справочник КГБ гласит: “Стратегическая дезинформация содействует выполнению насущных задач обороны страны и уводит противника в сторону от основного курса государственной политики”. Некогда Клаузевиц определил войну как “осуществление государственной политики мечом вместо пера”. Перефразируя его, можно было бы сказать, что в мирное время задача осуществле-

ния советской государственной политики вновь поручена перу — только отравленному. Поскольку стратегическая дезинформация неотделима от общегосударственной политики, направляется она также из Кремля. Член ЦК компартии Чехословакии Ян Сейка писал в 1968 году: “Советское Политбюро утверждает долгосрочный глобальный план дезинформации на 15 лет вперед”.

Тактические маневры по дезинформации осуществляются органами КГБ, который создает каналы связи со службами информации противника. Эта сеть включает в себя каналы введения дезинформации и каналы обратной связи, по которым становится известной реакция противника на эту дезинформацию.

Вводящие каналы организовать сравнительно несложно. Простейший способ — подбросить дезинформацию в поле зрения противника. Так, в 1950 году советская разведка оставила такого рода дезинформацию в сейфах своего посольства в Вашингтоне, рассчитывая, что ЦРУ непременно перефотографирует ее — что и произошло.

Более надежным средством передачи дезинформации является двойной агент, подобный “Федоре”. Для лучшей убедительности такие агенты иногда даже инсценируют бегство из своей страны и полный переход на сторону противника. Электронные подслушивающие устройства и потайные магнитофоны, обнаруженные противником, также могут действовать в качестве средств дезинформации — разумеется, если противник остается в неведении относительно этого.

Значительно сложнее установление каналов обратной связи. Оно требует проникновения в самую сердцевину разведывательных служб противника — путем внедрения туда шпионов или перехвата секретных кодов. Рассекречивание и перехват при современном уровне электроники стали почти невозможными. Поэтому главная ставка делается на работу шпионов, которые выявляют и сообщают своей контрразведке результаты ее дезинформационных усилий, а в случае надобности — помогают модифицировать их в желаемом направлении.

Деятельность “Федоры” и “Тофата” на протяжении десяти с лишним лет оказалась возможной лишь потому, что у русских был свой шпион в системе ЦРУ. Уильям Салливен догадывался об этом, но так и не сумел обнаружить агента. В своих мемуарах он вспоминает: “Когда я ушел из ЦРУ в 1971 году, там продолжал работать русский агент; но мы не знали, кто он”.

Еще в начале 1920 года Ленин сформулировал основополагающий принцип советской дезинформационной деятельности. На вопрос Дзержинского, какая дезинформация должна направляться на Запад, он ответил: "Говорите им то, что им хочется от нас услышать". У Ленина было природное дарование к такого рода манипуляциям. Он хорошо понимал тщетность открытого противостояния западным державам. Но поскольку они хотели верить, что коммунистический эксперимент потерпит поражение, то готовы были принять это на веру. Ленинский нэп тоже был своего рода дезинформацией, который "убеждал" западных политиков в их иллюзиях относительно судьбы коммунизма в России; это немало помогло Ленину в привлечении западного капитала в виде концессий и смешанных предприятий.

Одновременно с этим советская разведка создала канал для передачи аналогичной дезинформации своими средствами, организовав фиктивную антикоммунистическую группу "Трест". Эта группа установила контакты с контрреволюционными группами за рубежом, предлагая выдавать им советские секреты и помогать в организации побегов из СССР. Так как фактически эти побеги были делом рук советской разведки, то они удавались легко, и поэтому "Трест" быстро заслужил доверие в эмигрантских кругах, убедив многих за рубежом, что представляет собой мощную антисоветскую группировку и имеет своих агентов в правительственных кругах СССР. Вскоре "Трест" начал распространять секретную информацию среди различных антикоммунистических групп, которые перепродавали ее службам западной разведки. Инспирированная советской разведкой, эта информация на деле была тщательно разработанной системой дезинформации. Цель ее состояла в том, чтобы убедить Запад в шаткости советской власти, которая будто бы совсем не пользуется популярностью среди своего народа: достаточно Западу отказаться от вмешательства (а тем более интервенции), которое возрождает национально-патриотические чувства народа, как этот народ сам сбросит коммунистов. (У "Треста" были и другие задачи: проникновение в эмигрантские контрреволюционные группы, устранение их лидеров и т. д. — но задача дезинформации стояла в его деятельности на первом плане.)

Такая концепция импонировала западным политикам. Они охотно приняли ее, отказались от всяких планов интервенции, смягчили экономическую блокаду СССР и даже удерживали эми-

грантские группировки от подрывной деятельности на территории СССР — на том основании, что они якобы оттягивают и без того неминуемое свержение советского правительства.

Этот канал дезинформации, на протяжении шести лет весьма успешно сдерживавший наступление контрреволюции, не только субсидировался западной разведкой (принимавшей "Трест" за чистую монету и оплачивавшей все его расходы), но к тому же давал "прибыль", достаточную для оплаты всей советской разведывательной службы за рубежом! Он был ликвидирован только в 1927 году, когда в Хельсинки из СССР был послан псевдопребегчик, "раскрывший" Западу глаза на подлинную суть "Треста". Но и это разоблачение было частью дезинформационной кампании: оно имело целью оказать деморализующее влияние на эмиграцию и ее антисоветскую деятельность.

Когда во время Второй мировой войны советская разведка обнаружила утечку информации по каналам, связывающим Москву с советским посольством в Токио, она немедленно использовала это в своих целях, переключившись на передачу дезинформационных сообщений в старом коде — по тем же каналам. Завербованные в немецкой разведке шпионы осуществляли обратную связь, информируя русских о реакции германского командования на эти сообщения.

Надо заметить, что русские оказались весьма искусны в деле внедрения новых способов дезинформации. Так, летом 1944 года им удалось убедить немецкую разведку в том, что наступление советской армии будет вестись не на центральном Белорусском фронте, а со стороны Румынии и Финляндии. Немецкая разведка была так поглощена положением на флангах, что проморгала концентрацию колоссальных — около полутора миллионов человек! — сил на центральном участке площадью примерно с Западную Германию...

Отточенная в годы войны техника дезинформации весьма пригодилась Сталину в послевоенное время. С ее помощью, в частности, были сорваны все попытки США противодействовать распространению советского господства в Восточной Европе. Так, в 1951 году в Польше была создана фиктивная "подпольная армия" ВИН ("Свобода и независимость"). Она выдавала себя за головную организацию, под началом которой якобы действуют тысячи польских партизан. Ее заявления были "подтверждены" двойными агентами и ложными трансляциями польского радио, ко-

торое сообщало, что советские части подвергаются атакам со стороны партизан ВИН. ЦРУ и британская разведка приняли существование этой армии на веру. В течение года с лишним ЦРУ снабжало ее оружием, электронным оборудованием и валютой, направляло к ней своих агентов и польских диссидентов. В 1952 году все они были арестованы польскими силами безопасности. С помощью этой "армии" были втянуты в ловушку многие диссидентские группы в стране, а также деморализованы и опорочены польские эмигрантские круги за рубежом. Тот факт, что ЦРУ щедро оплатило и этот обман (1 миллиард долларов в золотой валюте!), делает успех советской разведки еще более блистательным.

Хотя пути и методы дезинформации очень разнообразны, назначение ее сводится, по сути дела, к одному: дезинформировать противника относительно своих сильных и слабых сторон. Тот же древнекитайский стратег говорил: "Перед врагом я выдаю свою слабость за силу и свою силу — за слабость". Как в 20-е годы в случае операции "Трест", так и в Польше в случае "армии ВИН" Советский Союз под маской политической слабости скрывал свою мощь и военную силу.

В 60-е годы имело место обратное: СССР всячески преувеличивал свои успехи в области создания ракет и бомбардировщиков дальнего действия. Для этого использовались различные меры: высказывания ученых на конференциях, официальные правительственные заявления, работа двойных агентов и даже такой трюк: во время военных парадов над трибунами бесчисленное множество раз пролетали одни и те же самолеты — чтобы создать иллюзию мощи советской авиации. Работавший под контролем КГБ чешский агент Ганс Фелфс представил ЦРУ образец урановой руды, якобы добытый в рудниках Чехословакии, чтобы создать у американцев преувеличенное представление о советских возможностях в области ядерного вооружения. Преувеличение советских возможностей, с одной стороны, придавало вес угрозам и бахвальству Хрущева, а с другой — отвлекало внимание США от стремительного развития в СССР совершенно другой отрасли — бомбардировщиков среднего радиуса действия.

Несколькими годами позже русские начали новую кампанию дезинформации — на сей раз с целью создать у американцев ложное представление о плохом состоянии советских систем наведения гигантских ракет типа "СС-9". Опираясь на эти ложные сведе-

ния, министр обороны США заявил в 1968 году: "Ясно, что СССР не имеет в своем распоряжении достаточного ракетного вооружения, чтобы противостоять Соединенным Штатам. Если же у него возникнут такие планы, мы будем в курсе дела и сумеем заблаговременно расширить или расщелоточить нашу ракетную технику".

Как выяснилось позднее, американцы глубоко заблуждались. Советский Союз разработал точную систему наведения ракет и ракетную технику в целом, вполне достаточную для подавления американской ракетной мощи.

Как же удалось русским обойти ЦРУ со всеми его космическими спутниками-шпионами, электронными следящими системами и прочей сверхсовременной техникой?

Прежде всего надо отметить, что ЦРУ всегда было склонно к самообману и недооценке технических возможностей СССР. Эта склонность ловко использовалась противником для составления дезинформационных данных ("Говорите им то, что они хотят от нас услышать"). В начале 60-х годов у русских работали, как минимум, два канала обратной связи. Это были американские шпионы, впоследствии обнаруженные ЦРУ. Один из них — Джек Данлоп — служил аналитиком в штабе Национального Агентства Безопасности, где имел доступ к сверхсекретным материалам. Кроме того, он исполнял обязанности шофера директора агентства генерал-майора Ковердейла, а потому имел возможность пользоваться одной из немногих машин, которые не подвергались проверке. Благодаря этому он вывозил со строго охраняемых баз огромное количество секретной документации, касавшейся, в частности, контроля за советскими ракетными испытаниями. После того как в 1963 году в агентстве была обнаружена утечка информации, Данлоп покончил с собой.

Другим важным каналом обратной связи был полковник Уильям Уоллен — сотрудник Объединенного Совета начальников штабов, завербованный советской разведкой еще в 50-е годы, когда он служил советником по вопросам разведки при начальнике штаба армии и имел доступ практически ко всем документам, касающимся американской (и советской) разведки. Вплоть до своего ареста в 1963 году он держал КГБ в курсе всей секретной информации, которую США получали из СССР, и КГБ мог в соответствии с его сообщениями модифицировать свою дезинформацию.

Поскольку американская разведка оценивала точность советских систем наведения по данным, перехваченным с советских передатчиков (о чем русские были прекрасно осведомлены), а также по сообщениям двойных агентов (работавших под контролем КГБ), то о самообмане ЦРУ можно говорить лишь как об одном из элементов тщательно продуманной системы дезинформации.

Понять это удалось только в начале 70-х годов, когда были разработаны новые и более совершенные методы фотографирования и изучения воронок от советских боеголовок. Метод фото-разведки показал, что точность советской ракетной техники значительно выше, чем предполагали американцы, исходя из прежних данных, перехваченных с советских телеметрических приборов.

Камнем преткновения в прежней работе ЦРУ оказалось миниатюрное устройство, измеряющее гравитацию, — акселерометр. Положение советской ракеты в полете определялось тремя установленными на ней акселерометрами. Американцы считали, что они хорошо осведомлены о точности работы этих приборов, поскольку американские наземные антенны в Иране и Пакистане непрерывно следили за передаваемыми с них данными. И хотя предполагалось, что советской разведке известно, что эти данные перехватываются, считалось, что такие важные показатели, от которых зависит наведение ракеты в цель, не могут быть сфальсифицированы.

Однако последующие исследования показали, что для такого наведения достаточно двух акселерометров! И третий, дополнительный прибор вполне может быть использован для передачи неверных данных! Результаты контрольного анализа телеметрических сообщений показали наличие в них "систематического отклонения" — иными словами, запланированной дезинформации.

Другой частью этой программы дезинформации были сообщения двойных агентов. Так, "Федора" информировал ЦРУ о том, что СССР испытывает серьезные затруднения в конструировании систем наведения. В середине 60-х годов он сообщил, что СССР намеревается приобрести в США более совершенные акселерометры. Вскоре после этого сообщения один из советских работников в аппарате ООН Вадим Исаков предъявил американской электронной фирме список товаров, которые СССР хотел бы у нее приобрести. Все они были связаны с системой наведения ракет, но особенно интересовался советский представитель теми устройст-

вами, которые имели отношение к конструированию акселерометров. Таким образом, все данные совпадали, и ЦРУ сообщило о серьезных срывах в проведении ракетных испытаний в СССР. Только в конце 1971 года сотрудники ЦРУ принялись лихорадочно выискивать причины "систематических ошибок" своих спутников и антенн. Была создана специальная изолированная лаборатория для перепроверки сверхсекретных данных, был прочесан весь штат сотрудников американской контрразведки, и многие из них были смещены со своих постов.

Планомерная дезинформация — единственное приемлемое объяснение того, как СССР сумел в минимальные сроки ликвидировать отставание в развитии ракетной техники. Усыпив бдительность американцев, советская дезинформация последовательно отвлекала их от мысли о необходимости совершенствовать их ракеты. Заметим, что гигантский советский ракетный скачок оказался возможным, и несмотря на наличие американских спутников-шпионов, постоянно следящих за советскими ракетными установками. Эту, казалось бы, невероятную задачу удалось решить благодаря тому, что США всегда были склонны недооценивать технические возможности СССР. То, что в основе советской дезинформации лежит предрасположенность США к самообману, как раз и делает эту дезинформацию неуязвимой для американцев. Сюда примешиваются еще и бюрократические интересы сотрудников американской разведки. Любая попытка поставить под сомнение их данные объявляется ими как угроза самой разведывательной службе Соединенных Штатов. Признать ошибочность сведений о советских ракетах означало подвергнуть сомнению надежность таких источников информации ЦРУ, как его шпионы в советской разведке, спутники и наземные антенны. Многие офицеры, рискнувшие высказать такие сомнения, поплатились за это своей карьерой. И вот, пока американцы безоговорочно доверяли своим спутникам и прочим электронным устройствам, советская разведка успешно использовала эти "национальные средства" для своих дезинформационных целей.

Отрицать и впредь проблему советской дезинформации — означает увеличивать ее шансы на успех.

НОВЫЕ ИДЕИ

Джозель Кармайкл

ПОТЕРЯННЫЙ КОНТИНЕНТ

Христианский календарь имеет власть и над нехристиами. Власть эта является естественным следствием утверждения, будто Иисус олицетворяет уникальное вмешательство Божества в человеческую историю; таким образом, историческая значимость этого календаря уходит своими корнями глубоко в аксиоматику христианства.

Такая точка зрения задает тон всех документов эпохи первого появления христианства на исторической арене. Все основополагающие документы христианства — Евангелия, Деяния Апостолов и Послания святого Петра — пренебрегают событиями мирской жизни, вернее, фильтруют их сквозь сито автобиографии христианской Церкви. В результате почти вся мирская история остается за бортом.

И евреи не сумели уйти из-под власти этой тенденции: следствием ее разрушительного воздействия оказалось их заметное невежество относительно собственной истории.

Существенный исторический фактор был вычеркнут почти полностью из еврейской истории, охватывающей период от разрушения Храма до превращения евреев в народ Рассеяния. Тот же самый фактор, который был вычеркнут из истории возникновения христианства.

Фактор этот носит имя "Движения за Царство Божие", которое зародилось при Ироде Великом или немного раньше, волной захлестнуло страну в 6-м г. н. э., когда Иудею через десять лет после смерти Ирода подчинили непосредственно римской администрации, создав тем самым предпосылки для явления Иисуса и Иоанна Крестителя; и достигло апогея в ходе разрушительной войны 66–70-х гг. н. э., затеянной вождями "Движения" против римского владычества. Последовавшее в 70-м г. н. э. падение Еврейского государства и разрушение Храма выплеснуло основную массу евреев из Палестины и превратило их в тот народ, которым они остаются и по сей день; а неудачное восстание Бар-Кохбы

два поколения спустя задернуло занавес скорби за этой фазой еврейской истории. (Нам пока еще не ясно, привело ли создание государства Израиль к началу новой ее фазы.)

Но, несмотря на то, что истинная еврейская трагедия народа Рассеяния является прямым следствием мессианского восстания 66–70-х годов, ее при помощи религиозной трактовки свели к трагедии еврейской души. Евреи, лишённые территориальной базы, после поражения 70-го г. сдвинули фокус своего самосознания в религиозную плоскость, из-за чего катастрофе 70-го г. нашлось место только в той области еврейской историографии, которая посвящена обсуждению участия Воли Божьей в истории.

В результате светские элементы национальной катастрофы рассматриваются только в религиозном аспекте: в религиозном еврейском сознании уничтожение Государства полностью затеняется уничтожением Храма, или, точнее, эта двойная трагедия сплавляется в одно-единое уникальное крушение.

Именно этим, и только этим объясняется ставшее давно привычным уклонение еврейской историографии от обсуждения зияющего провала в национальной эволюции — непостижимого перехода от народа, “нормально” укорененного на собственной земле, к “специальному случаю” народа, нигде не укорененного и существующего лишь на основании переносных документов.

* * *

Воистину сама древность еврейского народа облегчает возможность ловко спрятать разгром 70-го года в чересполосице триумфов и тревог, простирающейся от времен плена Египетского до славы Царств и даже до неприятностей, вызванных победой эллинизма в древнем мире, когда евреи после блистательного, хоть и краткого, периода независимости при Маккавеях вступили в неравный бой с Римской империей. Бой этот длился с переменным успехом с момента захвата Иерусалима Помпеем в 63-м году до н. э. до предпоследнего, но судьбоносного поражения евреев 133 года спустя.

Как на это дело ни смотреть, падение Еврейского государства в 70-м г. все же было уникальным событием. Оно качественно отлично от плена Вавилонского за шесть веков до него, ибо плен этот оставил основную массу народа неприкосновенно живущей на собственной земле и переместил лишь небольшую группу пред-

ставителей высших классов, да и то на короткое время. Казалось бы, естественно ожидать от еврейских историков специального внимания к поворотному моменту еврейской истории, когда территориальные основы народной жизни были полностью разрушены и заменены институциями, суть и форма которых целиком определялась абстрактной идеей.

Нам кажется очевидным, что такая недооценка рокового момента еврейской истории, поворотного пункта, превратившего Рассеяние в двухтысячелетнюю норму еврейской национальной жизни, неразрывно связана с принятием еврейскими, как и ВСЕМИ другими историками, христианского календаря не просто как системы датирования, но как нового принципа членения мировой истории, то есть с принятием христианской точки зрения на природу христианства.

Весь парадокс в том и состоит, что в основе происхождения христианской мифологии лежит неодолимая потребность первых последователей Иисуса стереть память все о том же историческом факторе — о “Движении за Царство Божие”. Ибо Иисус и его последователи были составной частью того же самого “Движения”, которое привело к еврейской катастрофе — именно этот факт и призвана затушевать христианская мифология.

Затушевывание это было исключительно успешным, ведь оно нашло себе место даже в работах тех светских историков-нехристиан, от которых естественно было бы ожидать попытки сорвать завесу тайны со столь тщательно скрываемой христианством фактической бытовой истории тех дней — иными словами, попытки проникнуть в реальность возникновения христианства.

Поразительно, что все историографы принимают на веру сомнительный тезис об отсутствии прямой связи между появлением учения Иисуса и падением еврейского государства, не обращая внимания на совпадение этих событий во времени, и ни один не хочет видеть, как истоки их восходят к бунтам сторонников Царства Божия в первом веке нашей эры.

Ирония этого пренебрежения реальными фактами состоит в том, что иудаизм рассеяния, замалчивая “Движение за Царство Божие”, искажает при этом истинный характер Иудейской войны против Рима. Зачеркивая таким образом мирские элементы собственной истории, Иудаизм при помощи этой ампутации оказывается во власти мифологии христианских Писаний, которую он невольно молчаливо принимает.

Не правда ли, странный оборот!

Частичным объяснением этому замалчиванию может быть вполне подвластное здравому смыслу, как светскому, так и религиозному, предположение, что на "Движение за Царство Божие" ложится вина за разрушение Храма. Тот роковой период, в который были заложены основы для последующего создания христианства, стал одновременно периодом превращения евреев в народ Рассеяния. Период этот удивительным образом совпадает со странным вакуумом в еврейской историографии, зияющим между последней книгой Еврейских Писаний (ДАНИИЛ, примерно 165 до н. э.) и первыми транскрипциями Талмуда несколько веков спустя: подвергнув проклятию и забвению "Движение за Царство Божие", которое готово было приблизить конец, чтобы заставить Бога завершить дело рук своих и сделать реальный мир достойным вместилищем иудейских ценностей, еврейские писатели не нашли в своей истории ничего способного противостоять христианской мифологии.

Поразительно, как христианской точке зрения удалось настолько заворожить многие поколения иудейских историков, тем более что документальные источники дают возможность явственно разглядеть очертания Потерянного Континента — "Движения за Царство Божие" в первом веке нашей эры. Казалось бы, что может быть естественней попытки проанализировать успех учения Иисуса на фоне истории группы мессианских экстремистов, восстания которых развязали Иудейско-Римскую войну и дали толчок к возникновению христианства?

Нежелание сделать это тем более поразительно, что сам по себе факт был признан одновременно с признанием "высокой критики" Писаний, начатой в Германии два столетия назад. У Германа Реймаруса, первого исследователя фактической основы Евангелий, не было сомнений в наличии первостатейного политического фактора в деятельности Иисуса, который мог бы объяснить, почему, собственно, Иисус был приговорен к смертной казни за подстрекательство к бунту. Но поколениями ученых XIX и XX веков это очевидное соображение Реймаруса было забыто, а вернее, скрыто от читателя. И взамен бесчисленные биографии Иисуса, написанные в этот период, пестрят туманными рассуждениями о том, что Иисус был казнен как мятежник исключительно по недоразумению.

А ведь простейшее объяснение смертного приговора за мятеж тем, что Иисус и был мятежник, проливает свет не только на обстоятельства его смерти, но и на причины, вызвавшие к жизни появление самих Евангелий.

* * *

В исторических Евангелиях — от Марка, от Матфея и от Луки — можно найти подтверждение этой точке зрения, тем более что два последних — от Матфея и от Луки — основываются на Евангелии от Марка, написанном во время или сразу после Иудейско-Римской войны. Задача автора Евангелия от Марка была чрезвычайно ясной: ему нужно было доказать, что борцы за Царство Божие — zeloty, — столь отчаянно восставшие против Рима в его время, не имеют ничего общего с Иисусом, казненным за восстание против Рима поколением раньше. Он должен был обелить Иисуса от обвинения в политической деятельности вообще и от обвинения во враждебности к Риму, в частности. Для этого ему необходимо было изменить весь облик Движения — лишив его политической направленности и заменив его социо-политические претензии потусторонними устремлениями.

Задача эта значительно облегчалась новым образом Иисуса, созданным и распространенным в народе уже после казни. Первые признаки величия он приобрел в результате исключительного события в истории религий — в результате видения Симона (Петра) на море Галилейском, которое посетило его вскоре после распятия Учителя. Видение потрясло всех последователей Иисуса. Для них это видение, хоть и являлось несомненным чудом, не выходило за рамки иудаизма: оно просто-напросто подтверждало статус Иисуса как Мессии. А мессианство Иисуса находилось в согласии с главной концепцией "Движения за Царство Божие", состоявшей в преобразении реального мира в соответствии с Божьей Волей. Таким образом, Иисусу, признанному Мессией, оставалось только явиться на землю еще раз, принеся с собой на этот раз наступление Царства Божьего.

Но вслед за мессианской идеей появилась новая, раскольническая, антииудаистская тенденция, все шире распространяемая среди последователей Иисуса: приписывая Иисусу черты первого христианского мученика, святого Стефана, тенденция эта возносила его гораздо выше: он становился уже не просто еврейским

Мессией, а Господином Вселенной, Спасителем Человечества. С тех пор как Стефан был до смерти побит камнями как отступник, а последователи его изгнаны из Иерусалима, они распространили свои взгляды в сирийской Антиохии и в других еврейских центрах Диаспоры. Именно эта тенденция, упорядоченная, обработанная и детализованная святым Павлом, задавала основные посылки той тонкой структуры, которая послужила руководством авторам Евангелий при их попытке скрыть истинные подробности деятельности Иисуса. Однако пока стоял нерушимо Храм — центр и средоточие мирового Еврейства, — Иисус и в новой роли оставался на периферии еврейской религиозной жизни. Не только последователи Стефана были высланы из Иерусалима, но и сам св. Павел был непопулярен и к идеям его никто не прислушивался.

Совершенно естественно, что в стремлении отмежеваться от zelотов, поднявших еврейские массы на неравную борьбу против Рима, автор Евангелия от Марка прилагал все силы, чтобы исказить истинный смысл “Движения за Царство Божие”, затушевать его политическую направленность и подчеркнуть потусторонние, трансцендентные устремления учения Иисуса, уже популярные к тому времени среди евреев Диаспоры.

Авторы Евангелий отлично справились со своей задачей: созданная ими модель до сих пор держит в своей власти всех сторонников христианской доктрины с ее огромным культурным наследием.

Ни Евангелия, ни Церковь, на них построенная, не упоминают ни словом какое бы то ни было несогласие между евреями и римлянами в Палестине того времени. Все, что случилось с Иисусом, происходит в еврейской среде, даже суд над ним, вершащийся римским прокуратором, объясняется как еврейский заговор. Сама торжественность в описании простейших событий, поданных под соусом теологических мотивировок, создает атмосферу статического действия на месте бурных, полных драматизма обстоятельств реальной жизни. И даже написанные в наши дни бесчисленные книги, посвященные жизни Иисуса, представляют современную ему Палестину в соответствии с христианской доктриной, страной мирной и идиллической.

Евангелия не допускают никакой критики в адрес римлян. Само слово “римлянин” появляется только однажды (Иоанн 11 : 48) ; роли в спектакле римляне получают только дважды: один раз это сам прокуратор Пилат, другой — центурион, который при

виде Иисуса на кресте называет его Сыном Божиим (Марк 15 : 39) .

Римляне, распявшие на крестах бесчисленные тысячи евреев, так что крест стал символом еврейского сопротивления Риму, умудряется остаться вне поля зрения авторов и редакторов Евангелий. В противоположность им фарисеи, ставшие к моменту создания Евангелий главными противниками нарождающейся секты, упоминаются непрерывно, причем в таком контексте, что их трудно отличить от раввинов, каковыми они не являлись.

Полная трансформация взгляда на события, вызвавшие к жизни новую религию, в основу которой заложен как образ воскресшего Иисуса, явленный Петру, так и потребность новой секты приспособиться к страшной еврейской катастрофе 70-го года, оказала решающее влияние на Евангелия: все основные идеи, составлявшие до того живую плоть иудейской жизни, — идея Царства Божьего, Мессии, сына Давидова, и Спасения — были вырваны из своего главного контекста, из контекста национального восстания.

При жизни Иисуса ни один день не проходил без какого-нибудь бурного события, ибо само присутствие римлян провоцировало недовольство и брожение. Все это полностью устранено из Евангелий.

И тем не менее очевидно, что призыв Иисуса к созданию Царства Божьего — т. е. такого преобразования мира, при котором все языческие силы, а в частности, и Римская империя, должны быть уничтожены, — в сочетании с тем фактом, что Иисус был казнен римлянами за подстрекательство к мятежу, неизбежно наводит на мысль о борьбе за Царство Божие, определившей всю жизнь Палестины с момента введения там римской администрации в 6-м г. н. э. и приведшей к Иудейско-Римской войне 68-го года, а затем к последней вспышке — к неудачному мятежу Бар-Кохбы в 132–35 годах.

* * *

Из сказанного ясно, что любое исследование жизни Иисуса, даже ограниченное только текстом Евангелий, неизбежно приводит нас ко встрече с zealotами. Если эти твердолобые мятежники были способны увлечь за собой основную массу еврейского населения Палестины, очевидно, что их решимость вызревала долгое время.

Мы узнаем об этом с достоверностью из Хроник Иосифа Флавия, единственного надежного источника сведений о бесконеч-

ных волнениях и восстаниях, приведших в конце концов к Иудейской войне. Хроники эти являют собой бесценный материал, не только благодаря воссозданной ими ясной картине еврейской политической жизни, предшествующей войне, но также и потому, что они единственные заполняют чудовищный провал в истории, порожденный умолчаниями Евангелий.

Иосиф, священнослужитель высокого ранга, был одним из руководителей восстания; взятый в плен римлянами, он принял их сторону и стал выдающимся историографом дома Флавиев — династии цезарей-победителей. Отцы Церкви очень быстро сообразили включить Хроники Иосифа в свои канонические труды. Иосифу Флавию приписана была роль свидетеля божественной сущности Иисуса, — беззастенчивость такой трактовки фактов, описанных Иосифом, хоть и должна была бросаться в глаза любому объективному исследователю, была замечена только в XVI веке.

Хроники Иосифа стали особым случаем: Церковь, обособив их путем непрерываемой единственно возможной трактовки описанных в них событий, исключила всякую возможность фактографического их анализа. В то же время официальная иудаистика вычеркнула имя Иосифа из всех своих списков, хоть могла бы разделить многие его взгляды и использовать многие его записи: его предательство затмило их общие интересы.

Описания Иосифа полны людей и событий: несомненно, они передают ритм жизни Палестины в эпоху, предшествующую вспышке роковой Иудейской войны. Они утопают в крови: в них переплетаются убийства и революции, жестокость и насилие, потрясения личные и общественные. Гнет римской административной машины, отчаянные всплески мятежей, поджигаемых борцами за Царство Божие, и все это на фоне общей коррупции, жестокости и лжи, ставших нормой жизни. Картина, нарисованная Иосифом, резко контрастирует с подозрительной идиллией Евангелий.

Вот как Иосиф Флавий описывает вступление Понтия Пилата в должность прокуратора Палестины.

“Сразу по своем прибытии в Иерусалим Пилат повелел тайно привезти туда статуи Цезаря и расставить их повсюду. Наутро евреи были потрясены таким наглым нарушением их закона, запрещающего установление в городе любых идолов. Огромная толпа окружила дворец Пилата с требованием немедленно прекратить осквернение Иерусалима.

...В ответ Пилат приказал своим вооруженным солдатам окру-

жить толпу тремя рядами. После этого Пилат объявил потрясенным евреям, что он велит солдатам изрубить в куски каждого, кто не подчинится его приказу и откажется поклониться статуе Цезаря. Толпа молчала, Пилат дал знак солдатам обнажить мечи. Тут все евреи словно сговорившись упали на колени, восклицая хором, что они готовы умереть, но не отделать на поругание свой Закон. Потрясенный их религиозным фанатизмом, Пилат приказал убрать статуи Цезаря из Иерусалима.

Хроники Иосифа, богатые жизненными деталями и яркими характеристиками, обнажая неумолимый процесс отчуждения и нарастающего отчаяния, предшествующий последней смертельной схватке, дают нам истинное представление об обстоятельствах восстания zelотов.

Что скрывать, и у Иосифа есть свои пристрастия: он не жалеет черной краски в своем стремлении опорочить zelотов, частично убежденный, несомненно искренне, что по их вине катастрофа обрушилась на еврейство. Иосиф верит, что, позволив римлянам победить, Бог тем самым выразил свою волю по отношению к евреям, но при этом не забывает и собственной роли историографа правящего дома Флавиев, который он должен прославлять.

Но главное, Иосиф все время старается преуменьшить роль zelотов. Из всего построения его Хроник, как и из набора представленных им событий, очевидно, что восстание, способное вовлечь практически все еврейское население Палестины в неравный бунт против могучей Римской империи, должно быть достаточно представительным. Однако Иосиф, стараясь очернить и унижить zelотов, отзывается об их движении как бы вскользь, сосредоточив свое внимание в основном на поведении римских прокураторов, на придворных интригах и на актах личного героизма.

Тем не менее ткань Хроник так плотна и полна фактических подробностей, что в узоре ее легко просматриваются мощные контуры движения zelотов, начатого восстанием Иуды Галилеянина в 6-м г. н. э. Не так уж трудно сделать скидку на пристрастия автора: когда он описывает пытки "воров" и "разбойников", замученных до смерти за отказ назвать Цезаря Богом, мы можем с легкостью предположить, что они НЕ были простыми ворами и разбойниками.

С другой стороны, у Иосифа вообще не встречается имя Иисуса (если не считать сфабрикованного впоследствии вводного абзаца, о котором мы писали выше), зато есть упоминания Иоанна Кре-

стителю и брату Иисуса Якова Простодушного, данные без каких бы то ни было комментариев.

Хроники Иосифа дают бесценный материал для изучения реальной жизни Палестины времен раннего христианства: они гораздо полнее, ярче, богаче бытовым материалом, чем все другие свидетельства той эпохи, и потому помогают ясней судить об исторической достоверности Посланий св. Павла, Деяний Апостолов и Евангелий.

* * *

Если мы сравним тенденциозность, с которой Иосиф описывает движение zelotim, с тенденциозностью Евангелий, особенно Евангелия от Марка по отношению к комплексу идей, личностей и событий, характеризующих "Движение за Царство Божие", мы обнаружим редкое их единодушие. Оба источника практически по тем же причинам игнорируют истинный смысл Движения, с той только разницей, что Иосиф пытается свести к минимуму его идеологическую идеалистическую направленность, в то время как Евангелия вообще отказывают ему в политических целях.

Но, несмотря на все усилия авторов Евангелий, по текстам их рассыпаны крупинки подлинной информации, так что наша задача как раз и состоит в воссоздании истинной картины по этим осколкам.

Если бы Евангелия были сфабрикованы, у нас не оставалось бы никакой надежды узнать что бы то ни было об Иисусе как о человеке... Стоит только вспомнить, как выросла власть Церкви, ставшей государственным учреждением при Константине Великом в первой четверти четвертого века, и как в параллель этой власти умножилась суровость церковной цензуры, и нам становится ясно, что даже те скромные крохи информации, которыми мы располагаем, надо расценивать как чудесный подарок. Крохами этими мы обязаны как равнодушию Церкви к деталям мирской истории, так и традиционному ее благоговению перед священными текстами, которые не дозволено было изменять.

Нам представляется необходимым ввести некий критерий для определения степени достоверности различных свидетельств. Для этого было бы разумно положить начальной точкой отсчета вышеупомянутую глобальную трансформацию перспективы, связанную с видением воскресшего Иисуса, посетившим св. Петра,

т. е. с явлением, происшедшим в промежутке между истинными событиями и моментом создания письменного свидетельства о них.

В своей книге “Смерть Иисуса” я сформулировал этот критерий так: “Все, что вступает в противоречие с глобальной трансформацией перспективы, может считаться правдой”.

Если документ содержит утверждение, совпадающее с перво-степенной задачей Евангелий возвеличить Иисуса, подчеркнуть его универсальность, его значение для всего человечества, это утверждение при прочих равных условиях можно считать недо-статочно достоверным.

Такой подход позволяет выбрать из преобразующего реаль-ность христианского текста крупницы подлинной информации, которые проливают свет на скрытую под евангельским зданием истинно еврейскую почву, проглядывающую сквозь все щели меж его декоративными стенами.

Так, например, идея избранного народа была принята последо-вателями Иисуса без сомнений и колебаний: об этом рассказывает крошечный абзац об Иисусе и женщине-язычнице, пришедшей к нему с просьбой о помощи. Вот что он ей ответил:

“Сначала надо покормить детей, потому что я не имею права забрать хлеб детей (т. е. Священное Писание) и бросить его соба-кам” (то есть язычникам) (Марк, 7:24–30).

Значение этого эпизода очень просто: он означает, что Священное Писание предназначено лишь для евреев, а “собаки”, т. е. языч-ники, не имеют на него прав. В конце эпизода, правда, Иисус смяг-чается, после того как женщина смиренно соглашается “подобрать лишь крошки и хлеба детей”.

Эта тема повторяется в Евангелиях не раз — например, в эпи-зодe, в котором Иисус посылает 12 Апостолов путешествовать по Палестине, но “не заходить ни к язычникам, ни в города са-маритян, а лишь к заблудшим овцам Дома Израилева (Матфей 10: 5 – 6).

Есть там бесчисленное количество мелких деталей, несомненно взятых из реальной жизни, подтверждающих наш тезис. Так, когда Иисуса спросили: “какая первая из всех заповедей?” — Иисус ответил:

“Первая из всех заповедей: Слушай, Израиль! Господь наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, и всюю душою твоею, и всем разумением твоим, и всюю

крепостию твою. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего как самого себя”.

Первая заповедь — это ключевой постулат иудаизма, вторая — суммирует этику иудаизма.

“Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить” (Матфей 5 : 17).

“И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви всего народа” (Деяния 2:46) .

“Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом” (Деяния 5:12) .

“Его (Иисуса) возвысил Бог десницею своею, чтобы дать Израилю покаяние и отпущение грехов” (Деяния 5:31) .

“А мы надеялись было, что Он (Иисус) и есть Тот, Который должен избавить Израиля” (Лука 24:21) .

Такие бытовые детали, как имена последователей Иисуса, создают впечатление вовлеченности народных масс в Движение: группа Иисуса должна была быть воистину большой, чтобы возникла необходимость различать отдельные лица при помощи прозвищ. Ведь имена Апостолов, традиционно воспринимаемые просто как имена, несут в себе конкретный смысл, характерный для прозвищ: Фома, например, — это “близнец”, а Петр — это “камень” .

* * *

Множество обрывочных сведений о реальности тех дней может быть извлечено из-под пластов позднейших текстов, чтобы в результате их сопоставления воссоздать истинную картину возникновения учения, впоследствии получившего имя “христианство” .

Так, можно сделать предположение, что Иисус, невзирая на яростные нападки Евангелий на фарисеев, сам был фарисеем, ибо провозглашал свое согласие с их трактовкой Священного Писания (Матфей 23:1—3) . Еще более любопытное предположение находит себе подтверждение при анализе того смысла, который вкладывался Иисусом и его ближайшими последователями в понятие “Царство Божие” .

Под каким углом мы бы ни рассматривали детали суда над

Иисусом, одну подробность невозможно ни исключить, ни затушевать. Подробность эта повторяется во всех четырех Евангелиях: христианская традиция не скрывает того факта, что казнен он был как Царь Иудейский. Что это значит?

Что касается римской точки зрения, то, представляя казнь Иисуса как распятие на кресте Царя Иудейского, они не вкладывали в это определение никакого потустороннего подтекста: речь шла о повстанце, казненном за участие в восстании.

Попробуем рассмотреть события, предшествующие аресту и казни Иисуса в изложении нещедрых на бытовые детали Евангелий. Начнем с анализа тех трех дней, когда Иисус молился в Храме: за эти три дня он "перевернул столы тех, кто продавал и покупал в Храме" и "выгнал их из Храма кнутом". Подробности этих дней бросают зловещий отсвет на поведение Иисуса, представленное в Евангелиях как действие символическое, не имеющее ничего общего с насилием. Между тем нельзя понять этот эпизод вне предположения, что Иисус попросту захватил Храм. Иначе как мог бы он ворваться туда и хозяйничать там столь продолжительное время? Известно, что Храм представлял собой огромное учреждение, охраняемое римской когортой, в состав которой входило не менее 500–600 человек, и собственно храмовой службой, численностью не менее 20.000 человек. Как бы Иисусу удалось перевернуть столы денежных менял на глазах этой многочисленной стражи, не говоря уже о самих менялах, вряд ли существах кротких и безобидных? Остается предположить, что армия Иисуса была не менее многочисленна и хорошо вооружена. Это предположение объясняет многие неясные строки, мелькающие во всех четырех текстах:

"Один же из стоявших тут извлек свой меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо" (Марк 14:47).

"Бывшие же с Ним, увидев, к чему идет дело, сказали Ему: Господин, не ударить ли нам мечом?" (Лука 22:49)

"Они сказали: Господин, вот два меча!" (Лука 22:38)

Нет сомнения, что Иисус мог захватить Храм только во главе вооруженного отряда, из чего следует, что казнь его как Царя Иудейского прямым образом связана с этим захватом Храма.

В более поздних источниках (Труды Отцов Церкви) есть ссылка на высказывание преследователя христиан Соссиануса Хироклеса по прозвищу Лактанциус, префекта Египта при Диоклетиане, который прямо называет Иисуса "разбойником", предводителем

вооруженной шайки численностью в 900 человек. Слово “разбойник” во времена Лактациуса обычно употребляли по отношению к повстанцам против власти Рима.

Только в свете представления об Иисусе как о предводителе вооруженного отряда можно понять смысл предательства Иуды Искаротиота. Воистину зачем Иуде было указывать на Иисуса, который на протяжении трех дней переворачивал столы в храме и кнутом выгонял менял? Неужели никто из присутствующих и пострадавших не мог его опознать?

Но если представить, что популярный толкователь Священного Писания был одновременно и предводителем разбитого наголову вооруженного отряда, становится понятным, что именно выдал Иуда — он выдал римлянам тайное убежище Иисуса и его последователей, где те прятались после разгрома, где-то в полутора милях от Иерусалима по дороге на Иерихон.

Итак, даже из обрывочного, бедного реальными деталями отчета Евангелий об обстоятельствах, связанных с арестом Иисуса, ясно, что за смутными его символическими действиями встает грозный призрак разгромленного вооруженного мятежа. Именно это обстоятельство и надлежало замаскировать и сгладить автору Евангелия от Марка. Задача остальных была куда проще: им надо было только дополнить рассказ первого, украсить его живописными подробностями, обогатить поэтическими образами, чтобы возникли тексты, ставшие теперь каноническими.

Если мы вспомним, что во времена Марка Храм все еще высился в целости на своем месте, а захват его Иисусом произошел всего одним поколением раньше, мы сможем с полным основанием искать осколки истинных подробностей, рассыпанных тут и там по воспоминаниям Марка, несмотря на все старания автора придать им соответствующий его пропагандистской задаче вид.

В первую очередь поражает частота отраженного под разными углами эха слова “Зелот”. Так, в списке Апостолов, составленном Иисусом, упоминается Симон Кананит (Марк 3:18). Слово “кананит”, неприемлемое в греческом тексте, само по себе разоблачительно: это очевидная транслитерация иврито-арамейского слова “каннай”, что означает в переводе “зелот”. Порой в самой манере Марка объяснять некоторые прозвища слышны отзвуки ярости, связанной с движением зелотов: раскрывая, например, смысл эпитета “брогес”, которым он награждает сынов Зеведея, он поясняет его выражением “дети гнева”, каким иногда характеризовали зе-

лотов. Но прямо перевести смысл эпитета “кананит” было слишком опасно во времена Марка, и потому в этом случае он воздержался от пояснений, и только полвека спустя, когда отшумели ужасы Иудейско-Римской войны, Матфей смог позволить себе роскошь написать вместо “кананит” слово “зелот” по-гречески (Матфей 10:4).

Наряду с этим можно предположить, что прозвище Иуды “Искарот” восходит к определению “кинжальщик” (“сикарий”) — как называли группу зелотов, крайних экстремистов. А два “вора-разбойника”, распятые вместе с Иисусом, вполне могли быть борцами за Царство Божие, — их, казненных за участие в мятеже, желательно было принизить бранным определением. Так же и помилованный Варавва, арестованный за то, что он “во время мятежа сделал убийство” (Марк 15:7), скорее всего, был участником Движения за Царство Божие.

* * *

В реальной жизни Палестины времен Иисуса утверждение “Богу — Богово, кесарю — кесарево” (Марк 12:13—17) могло быть воспринято любым борцом за Царство Божие как откровенно повстанческое: ведь все они были согласны, что Святая Земля принадлежит только Богу и никакой язычник не может собирать с нее дань. Налог, которым обложили Палестину в 6 г. н. э., был воспринят там как оскорбление, в то время как Марк помещает притчу о динарии кесаря в такой контекст, словно Иисус, ничтоже сумняшеся, утверждает правомочность римских поборов. Марк употребляет заявление Иисуса о Боговом и кесаревом как ответ на ловушку, расставленную ему фарисеями и иродианами, вышелушывая таким образом из высказывания Иисуса его политическую сущность, — ведь каждый из говорящих имел в виду свое: представитель администрации считает естественным актом уплату подати, представитель повстанцев — отказ от уплаты.

Но лучше всего иллюстрирует отрицательное отношение Евангелий к движению зелотов полное забвение Иисусом этой темы. Нет сомнения, что авторы Евангелий, активно нацеленные на обеление римлян и на очернение повстанцев, повинных в чудовищной катастрофе 70-го года и жестоко преследуемых, не поспешили бы на развитие и расцветивание любого порочащего повстанцев высказывания Иисуса, если б его только можно было отыскать. Всякое

недоброжелательное замечание Иисуса о зелотах облегчило бы положение его последователей в послевоенном Риме, где писалось Евангелие от Марка. Но поскольку автор (или авторы) не позволил себе унижаться до фальшивок, он вынужден был вообще исключить эту тему, — а ведь он процитировал слова Иисуса о многих реальных персонажах — о фарисеях, об иродианах и даже иногда о садуккеях. Где же отношение Иисуса к главной реальности его времени?

И все же сопоставление Хроник Иосифа с Евангелиями позволяет найти следы грандиозного народного движения, столь мощного, что оно сумело привести еврейство к неслыханной катастрофе уничтожения Храма и государства в результате развязанной им войны. Оба источника, столь противоречащие друг другу почти во всех пунктах, поразительным образом подтверждают, путем единодушного отрицания, существование могучего всенародного сопротивления великой империи. Подробности этого движения в зияющей пустыне фактов можно восстановить лишь с помощью дедукции.

После разрушения Храма в 70-м г. н. э. ничто не мешало пышному расцвету идей св. Павла. А так как расцвет этот вызвал ожесточенное сопротивление со стороны еврейской элиты — раввинов, унаследовавших традицию фарисеев, — авторы и редакторы Евангелий, замороженные собственной тенденциозностью, естественно пошли по пути возрастающей враждебности к соперникам-раввинам и к ортодоксальным евреям, которых те представляли. Враждебность эта существенно подкреплялась ослаблением еврейства, потерявшего свой Храм и свое Государство: их не стоило обращать в новую веру, гораздо плодотворнее было обратиться к призыву ко всему человечеству.

Поначалу, собственно, св. Павел всего лишь пытался найти выход из временного кризиса, увязав воедино две несовпадающие темы нарождающейся религии — тему Царства Мессии как Царства Божьего и тему воскресения Иисуса. Но вследствие постоянного тенденциозного искажения смысла понятия “Царство Божие” идеи эти привели к результату, о котором не мечтали ни Иисус, ни Павел — к созданию вневременной теологии.

Взгляды Павла, искренне продуманные им как ответ на сугубо еврейскую проблему — как Бог мог отложить установление своего Царства, к сотворению которого он уже приступил? — самой своей обобщенностью отвлекали внимание от реальных проблем борьбы

евреев против власти Рима. В свете этого смещения внимания понятие “Царства Божьего” приобретало все более духовный, абстрактный смысл, превращаясь к середине следующего столетия в отвлеченную метафору. Разгром восстания Бар-Кохбы ускорил этот процесс, создавший зияющий провал в еврейской истории. Еврейские историки, подавленные мощью и популярностью христианской легенды наряду с почти полным отсутствием аутентичных документов той эпохи, не выступили в защиту забытого народного движения. В конце концов христианская доктрина заполнила образовавшийся вакуум, заставив самих евреев принять враждебную им точку зрения.

* * *

Со времени создания христианства прошли долгие века.

За эти века христианская легенда стала общепризнанной и общепринятой и созданный ею образ Иисуса — Сына Божьего, принявшего на себя страдания всего человечества, стал каноном, удовлетворяя потребность миллионов страдальцев в надежде и утешении. Полностью забыт был мятежник из дома Давидова, приговоренный к смерти как Царь Иудейский, посмевшийся призвать к восстанию против могущественной Империи и распятый за это на кресте, как и тысячи его сподвижников. Остался в памяти только рассказ Симона-Петра о воскресшем Учителе, так прокомментированный самим Иисусом: “Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие” (Иоанн 20:29). Комментарий этот еще раз подчеркивает, сколь велика была потребность изъять как Иисусову идею “Царства Божьего на земле”, так и самого Иисуса из исторического контекста того времени.

Конечно, впоследствии отдельные группы отказывались принять противоречивые сведения источников — к примеру, миролюбивые призывы Иисуса в сочетании с упоминанием о мечях и насилии. У иных вызывало сомнение долготерпение римлян, допустивших деятельность Иисуса на столь длительном отрезке времени, вместо того чтобы сразу же арестовать его. Всех сомневающихся слегка мучило возможное несоответствие, представленного св. Павлом Иисуса христианской легенды образу истинного Иисуса, казненного римлянами. Но три несомненных факта были признаны всеми — как верующими, так и сомневающимися:

1. Иисус прославлял “Царство Божие”

2. Иисус был распят как “Царь Иудейский”

3. Учение его во всех своих деталях глубоко укоренено в иудаизме.

Эти три факта, многократно подтвержденные и иллюстрированные как обрывками реалистических подробностей, рассыпанных по Евангелиям и Деяниям Апостолов, так и негативными упоминаниями Иосифа Флавия, создают три точки опоры для попытки вновь воссоздать историческую концепцию возникновения христианской религии. При желании можно извлечь из имеющихся источников исторические подробности борьбы за Царство Божие в первом веке нашей эры, которые определяют место Иисуса в рядах борцов и объяснят, как подлинная история была трансформирована в теологию великой Церкви, занявшей пустующее место Царства Божьего.

Там, глубоко под водами забвения, вырисовывается затонувший континент, новое открытие которого может изменить существующий взгляд на исторические процессы. Мы можем рассмотреть только высшие его пики, только смутные его очертания, но, поверив в него, мы вынуждены будем принять иную концепцию происшедшего две тысячи лет назад.

Мы вынуждены будем согласиться с тем, что не личная судьба Иисуса перевернула психологию и идеологию человечества “новой эры”, а ожесточенная борьба и трагическая катастрофа еврейского народа.

Какой страшной иронией дышит история евреев в эру владычества христианства в свете этого нового понимания!

МАСТЕРСКАЯ

Портрет Художника.

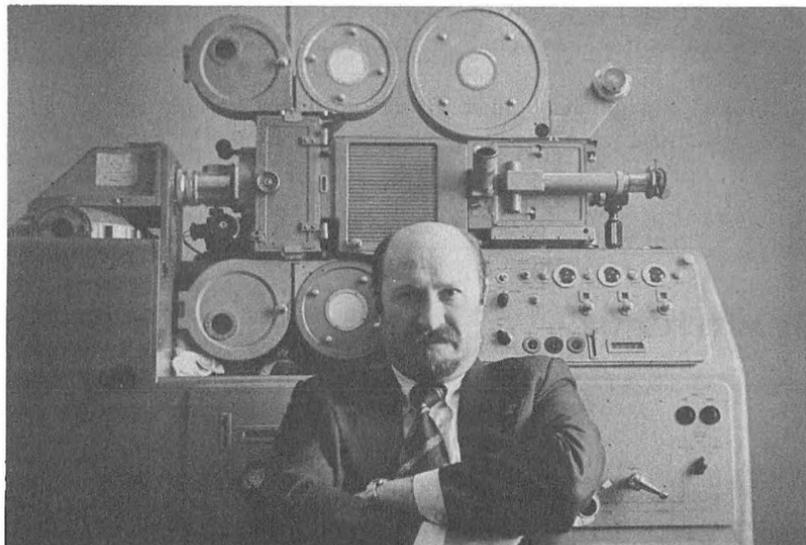
У каждого человека есть по меньшей мере два лица. Одно — это то, по которому узнают его на улице знакомые, которое видит, не видя, мужчина в зеркале во время бритья, а женщина — подкрашивая губы. О выражении и игре его сам человек может

лишь смутно догадываться, а догадываясь, почти всегда огорчен малым соответствием этого известного всем облика тому, что он знает о себе сам. То же, что он думает, хочет думать о себе сам — и есть второе его лицо, не искаженное бедами, недобрыми чувствами, годами и прочими случайностями. С пристальным любопытством мы рассматриваем фотографическое изображение собственного лица, в надежде — а вдруг да промелькнет, уваченный камерой, хоть след того образа, который, мы знаем, знаем, таится под привычной маской.

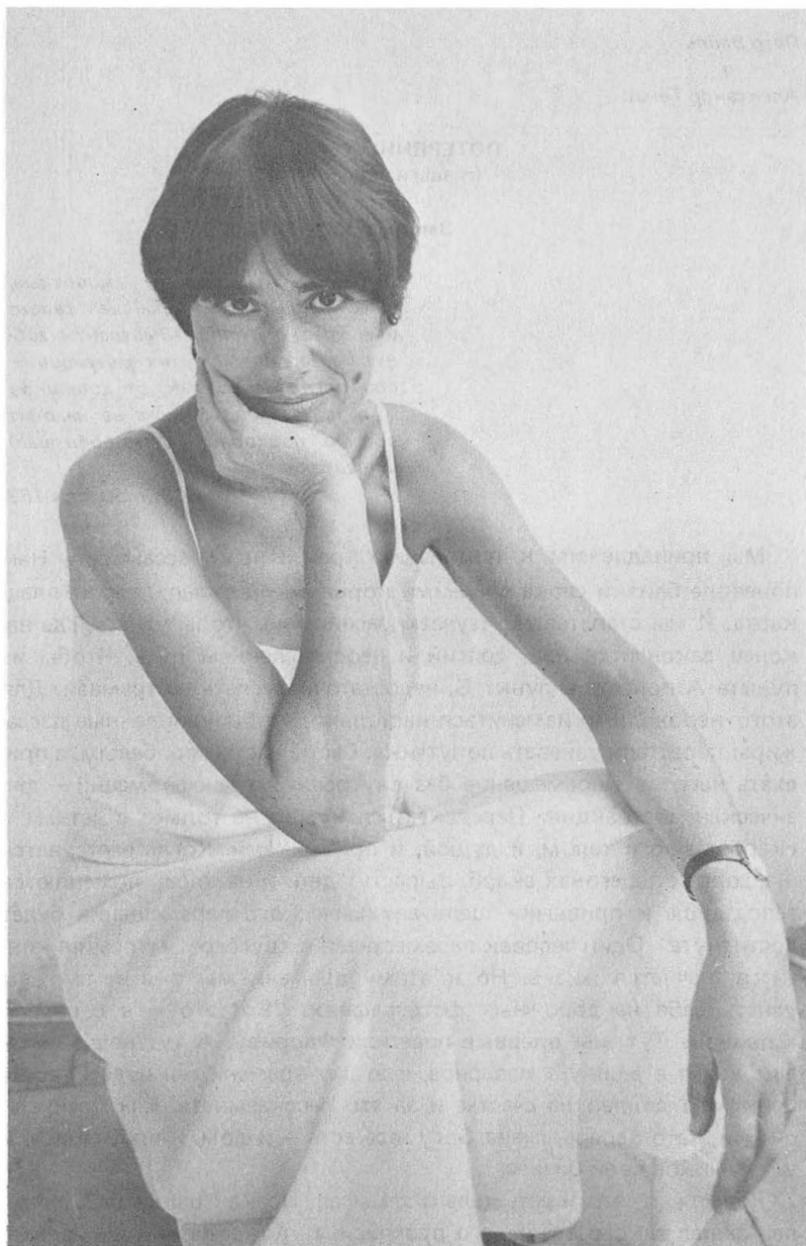
Николай Шерман в своих фотопортретах уловил эту надежду — и открыто, без экивоков, удовлетворяет невысказанное наше желание. Это даже и не идеализация. Просто на его портретах люди таковы, какими они хотели бы, могли бы быть — какие они даже и есть, да вот только, увы, никто, кроме магической камеры, их такими увидеть не может...

Николай Шерман учился операторскому мастерству в Москве, во ВГИКе, снял несколько десятков документальных фильмов на Леннаучфильме; в 1979 году приехал в Израиль и работает оператором на израильском телевидении.

Ю. Ф.



Н. Шерман. В общем, жених.



Н. Шерман. Женщина в белом сарафане.

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
(главы из книги)

Эмиграция

Эмигранты (биол.) — животные, выселяющиеся из района своего обычного обитания. Эмигранты гибнут массами на путях миграции — при преодолении рек, от хищников и т. п. На новом месте не находят обычно подходящих местообитаний и погибают.

БСЭ, т. 30, стр. 163

Мы принадлежим к поколению транзитных пассажиров. Нам поневоле близки слова с чужими корнями — вокзал, перрон, плацкарта. И мы старательно изучаем расписание, чтобы узнать, где наконец закончится наш долгий и неосмысленный путь. Чтобы из пункта А попасть в пункт Б, недостаточно успеть на трамвай. Для этого необходимо измениться настолько, чтобы удивленные пассажиры перестали узнавать попутчика. Сесть, например, белым, а приехать негром. Перемещение без внутренних трансформаций — физическая абстракция. Передвигаться нужно не только с детьми и скарбом, но и телом, и душой, и привычками. Когда растеряется на долгих перегонах скарб, вырастут дети и наконец поменяются тело, душа и привычки, цель алхимического перемещения будет достигнута. Один человек переместится в другого. Эмиграция кончится, начнется жизнь. Но к этому времени мы уже не сможем узнать себя на дорожных фотографиях: “Вот это — я с первой машиной. Тут мы впервые посетили Флориду. А тут наш Сэмми еще ходит в ешиву”. Наверное, к этому времени мы будем дарить новичкам доллар на счастье и за это рассказывать, как начинали с нуля, зато теперь, слава Богу, все есть — и дом, и процветать, и у мальчиков свой бизнес.

Возможно, это и есть цель и замысел. Но как бы ни был сиятелен финал такого всеобщего процветать, путь к нему куда увлекательней.

1. Историки считают, что труднее всего приходится народам, страны которых лишены естественных границ — морей, гор, пустынь. Беспрерывное расширение России лишило ее не только природных преград, но и соседей. Там, где кончалась Россия, начинались минное поле, колючая проволока, люди с песьими головами. Русский человек чаще всего попадал за границу в составе оккупационной армии атамана Ермака, генерала Ермолова, маршала Жукова. От этой давно укоренившейся привычки оставалось неистовое стремление к загранице. Настолько неистовое, что часто страсть соединялась с ненавистью.

Чем хуже было дома, тем слаще казался зарубеж. Из дюжины молодых людей, посланных Борисом Годуновым за границу для учебы, вернулся только один. Первый эмигрант Андрей Курбский внушал здоровую ненависть не только Ивану Грозному, но и сегодняшним историкам. Самый русский поэт Александр Пушкин симулировал тяжелую болезнь, чтобы попасть за границу. Но оказался там — в соответствии с традицией — только с победоносной армией.

Русский патриотизм в основе своей вынужденный. Он происходит не от сравнения домашних нравов с соседскими, а от невольного признания своего — единственным. Когда человеку не оставляют выбора, ему приходится любить березки.

Оттого русский патриотизм непременно включает в себя географическую колоссальность. Любовь к исключительности питает его пристрастие ко всему огромному — от протяженности границ до грандиозности пороков. Более того, размеры оправдывают пороки — есть где развернуться. Как гордо писал об этом несостоявшийся эмигрант Пушкин:

Или мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?...

В данном случае этот колосс вставал, чтобы давить “кичливых ляхов”. Но могут быть другие причины. Не в них дело. Дело в размахе: “Коль рубить, так уж с плеча”. Роскошь размаха заранее оправдывает качество срубленных голов. Патриотическая гигантомания необычайно тешит национальное самолюбие. Если уж тиран — так самый кровавый. В этом тоже есть свое утешение. Как в обладании полюсом холода.

Граф Толстой уговаривал, что всякому хватает трех аршин земли. Но настоящий патриот не хочет удовлетвориться малым. Его географическая страсть претендует на всеохватность. Всех вместит русская незлобивая душа: надо — не надо, хочешь — не хочешь... Но, вместив, жить захочет за границей. И это вполне естественно.

2. Миф о загранице начался с варягов. Вроде у них был порядок. Потом порядок появился и дома. Поэтому заграницу запретили. Признали ее несуществующей, потом ненужной, затем неправильной. Семнадцатым веком датируется один замечательный текст: "Богомерзостен перед господом Богом всяк, любящий геометрию". Геометрия естественным образом проникала с Запада. И за это Запад естественно было не любить. Русский человек противопоставил геометрии сарафан и бороду. Но когда Петр обрел и то, и другое, время противопоставлений кончилось.

Петровское окно в Европу стало ненадежной отдушиной. Оно позволяло печатать разные пустяки, ездить на воды и растить свободную русскую прессу. Как только климат суровел, окно закрывалось решеткой. Так продолжалось до тех пор, пока советская власть не заделала его крепко и навсегда. Но где-то в генах осталась память о недопустимой свободе и геометрии.

Наше удачливое поколение унаследовало эту многовековую тоску по загранице. И когда тоска эта стала подкрепляться крохотными знаками оттуда — в виде Поля Робсона, скажем, — она стала мечтой и религией.

Международный вакуум, в котором жила Россия, произвел целую коллекцию мифов о загранице. В сущности, это была детально разработанная теологическая система. Как и свойственно этой метафизической области, все здесь было нетвердо и не намеряно. Но главный вопрос — есть ли Бог, существует ли жизнь на Марсе — решался положительно.

Запад был на самом деле. Оттуда приходили книги, фильмы и джаз. Где-то существовали Европа, Рио-де-Жанейро, Алабама. Там, под жарким солнцем Запада, зрели битники, саксофоны, абстракционизм. Там были небоскребы и Голливуд, стриптиз и коктейли, бой быков и демократия. Все было. А у нас не было ничего.

В старом советском фильме отсталой крестьянке рай представляется в виде московского метрополитена. Для москвича заграничная жизнь реализовалась в Париже или Нью-Йорке. Мы любили

заграницу платонической любовью. И в этом чувстве не было ни похотливой жажды приобретения, ни прощительной страсти обладания. Эмоция эта была бестелесна и бескорыстна — как та, которую сочинил Петрарка. Запад нам нужен был как идеал. Достаточно того, что он существует. Не вмешиваясь в нашу скромную жизнь, не даря нас своим вниманием, не опускаясь до наших забот и печалей. Прекрасный и недоступный, он оправдывал все, что творилось дома. Мы верили в него как в высшую справедливость — в последний итог искусства общежития.

Вера в идеал — дело вообще опасное, но верить в идеал осуществленный может только человек, ослепленный собственной жизнью. Платон дважды пытался построить свою утопию. И дважды ему пришлось бежать от ее последствий. Мы жили в обществе, где райские кущи официально считались атрибутом близкого будущего. Непреклонная вера в осуществимость утопий питала нашу жажду гармонии. Что с того, что программа коммунистической партии расчленилась на ряд анекдотов? Привычка к идее прогресса делала свое дело даже в негативной атмосфере. Если у нас все плохо, то где хорошо? Там. Мысль о неизбежности географической точки, где все хорошо, казалась очевидной. Российский идеализм продуцировал веру в Запад, и никакой скепсис не мешал этому феномену. Умом мы понимали, что и на Западе идет дождь, но сердце уверяло нас, что там всегда светит солнце.

3. Америка — это не просто Запад. Это — утрированный Запад. Дальше уже опять Восток. Америка — это бодрая смесь индейцев, мустангов и ковбоев. Здоровый коктейль из Мэрлин Монро и Генри Форда. Америка — это то, что снится в сладких детских снах. Даже фонетически это слово звучит призывно и романтично. В конце концов, если где-то и должны пересекаться параллельные прямые, то только здесь, в стране мечты и Атлантиде.

Для России Америка была всегда дальше Луны. И все же она была частью нашей жизни. Мы испытывали загадочное чувство понимания ее далекого существования. Какая-то историческая похожесть, географическая аналогия, мечтательная близость. И мы могли бы, если б не... Сослагательное наклонение нашей истории всегда мешало приблизиться к просторной жизни Нового Света. Хотя под руководством коммунистической партии мы и сидели у него на пятках.

Джаз из Нового Орлеана, тexasские джинсы и голливудские фильмы. Во всем этом сквозил ветер свободы. Не аристократической демократии английского парламента, а простой и ясной свободы для всех — народной воли. Америка, казалось, уравнила не только богатых и бедных, но и умных и глупых. Все носят джинсы, жуют жвачку и смотрят вестерны. Наверное, так бы представлял себе равенство и счастье Степан Разин. Не было в этой выдуманной нами стране галльского изыска, германской идеи или британской устойчивости. Но было добродушие и всепонимание. В этой утопии удавалось жить здоровым и богатым.

И еще была великая американская литература, которую мы знали не хуже отечественной, а любили, пожалуй, и больше. Именно Фолкнера, Хемингуэя или Стейнбека были паролем, пропускающим в высший свет, в новый свет. Как ни странно, американцы учили нас реализму. Они, модернисты и новаторы, воспевали жизнь в удивительно жизнеподобных формах. Наша словесность всегда была идеальна и фантастична. Как “Барышня-крестьянка” и тургеневские романы. Русский реализм, хоть и питался жизнью, но воспринимал ее в возвышенно-утрированных тонах. Будь это пародийный сказ Гоголя или сгущенный диалог Достоевского, веселый поэтизм Пушкина или идеальная психология Толстого. Русская классика приучила нас к пышному разнообразию литературы, но не жизни. Прославленный наш реализм был несколько схож с искусством Ренессанса. Там ведь тоже было все как в жизни — и мадонны, и ангелы, и рай, и ад. Мы ушли слишком далеко по дороге вымысла. И как ни прекрасна эта дорога, нам не хватало на ней остановок. Действительность осталась где-то в стороне, за рамой.

В 60-е годы, когда в вымышленном и идеальном российском государстве появились признаки и призраки действительности, мы ощутили тоску по реальности. Ее-то и удовлетворяли великие американцы. Они открыли технику правдоподобия. И как ни разнообразны были ее формы, все они создавали панораму полноценного существования человека в жестоком, но постижимом мире.

У каждого из наших кумиров был свой географический регион — Йокнапатофа Фолкнера, Джорджия Колдуэлла, Калифорния Стейнбека, Испания Хемингуэя. Но общим американским знаменателем было мужественное и доверчивое отношение к жизни. Это была литература действия, а не разговора о нем. Тогда мы

воспринимали поступок как революцию, даже если он был напрасен и бессмыслен. Иначе откуда бы взяться правозащитному движению. Лозунг “победитель получает ничего” превратился из цитаты в программу. Мы осваивали жизнь по жизнеподобным формам американской прозы. И ничему плохому она нас не научила.

Выяснилось, что наши “шестидесятники” выросли удивительно похожими на своих предков из XIX века. Современные Базаровы тоже хотели резать лягушек и бороться с социальной несправедливостью. Энергично отвоевывая свое право на модный танец твист, синхрофазотроны и независимое мышление, они породили стереотип деятельного и увлеченного человека. В литературе их привлекал Штольц, а не Обломов, в женщинах — сила, а не слабость, в компасе — Запад, а не Восток. Это поколение мужественных настойчиво проводило в жизнь свою программу усовершенствования людей путем зарядки и обтираний, нравственных упражнений и деятельной морали. Они презирали интеллигентскую рефлекссию, из которой выросли, и всей своей жизнью защищали идеалы реальности.

Все они, как и их предшественники из прошлого века, были поклонниками энергичного английского духа, коррективной эпохи перенесенного в Америку. Им так хотелось привить этот дух России. Внести в нашу жизнь ясную целеустремленность, экономические реформы и пунктуальность. Обуздать советский абсурд при помощи науки и техники.

Это был славный век победоносного торжества физиков над лириками, западников над славянофилами, прозы над поэзией.

Реванш подкрался незаметно. Хаос и алогичность России всегда противостояли разумной силе реформ. Здоровый и бодрый дух американизма стоял над колыбелью нашего недолгого Ренессанса. Но прозе еще никогда не удавалось победить поэзию. Во всяком случае, у нас дома. Идеалы практической целесообразности разрушали государственную мечту о всеобщей гармонии материальной базы с технической и морального кодекса со строителями коммунизма. Кроме того, лишенной исторических сантиментов Америке было наплевать на Москву — третий Рим и на ветер с Востока. Америка оказалась идеалом шатким, непрочным, а главное — почти никому не нужным.

Пришло новое десятилетие, и главные поклонники Америки — циничные и наивные Базаровы — стали строить дачи, читать Хомя-

кова и учиться окать. Оказалось, что патриотизм не только ближе и понятней, но и дешевле обходится. В 60-е годы неконформисты носили клетчатые штаны и слушали джаз. В 70-е модно стало называть детей Аринами и по рассеянности вставлять в письма “яти”. Глобус повернулся не той стороной, и Америка опять закрылась.

4. Сначала Америки не было вообще. Потом ее открыли как страну мечты. Затем попытались осуществить у себя дома. И наконец закрыли за ненадобностью. На всех этапах этой эволюции для Америки находилось место в нашей жизни. И все это время она была невидимой абстракцией — как загробный мир или электричество. Но вдруг сломалась пружинка нашего сумасшедшего мира и выяснилось, что Америка начинается в Калашном переулке города Москвы. Там открылась лазейка для бегства в мечту из действительности. Америка материализовалась неожиданно и неоправданно, как дух на спиритическом сеансе. В нашу жизнь вошло полузабытое слово “эмиграция”, а вместе с ним и проблема выбора. Проблема, которая изменила климат России, введя в обиход призрак капитализма.

До сих пор в России никто и ничего не выбирал. Тем более родину. Белая армия оказалась за границей, спасаясь от Красной. Несчастные “перемещенные лица” бежали от ГУЛАГа. Мы же выбирали родину долго, сознательно и окончательно.

Не важно, сколько людей уехало из России. Важно, что появилась брешь не только в погранзаставе, но и в нашем сознании. Приходили письма с пестрыми марками, редели имена в записных книжках, кто-то получил по почте джинсы. В обиход вошло звучное, как название древней страны, слово — ОВИР. Веками возвращенный комплекс исключительности рассыпался на наших глазах. Из жителей самой большой в мире черты оседлости мы превращались в граждан мира. Космополитический дух нашей юности — с Ивом Монтаном и Эллой Фитцджеральд — неожиданно стал плотью и кровью.

Возможность выбора — страшная вещь. Она гнетет и подавляет волю. С ней нельзя жить в спокойной уверенности будней. Потому что где-то в вышине, за Брестом и Чопом, трепещут праздники. Заграница, которая будоражила нас своим нематериальным существованием, стала магнитным полюсом. Невидимой и нелепой осязательностью, сгустком энергии, заставляющим всегда отклонять-

ся магнитную стрелку. Так эмиграция привила советскому человеку шестое чувство — чувство Запада.

И началась сладостная пора выборов. Долгие кухонные бдения, перечитывание книг, изучение карт. Мы не знали и знать не могли, что находится в зелено-коричневом пространстве под названием США. Но мы твердо верили, что там есть все, чего нам не хватает — деньги, мудрость, счастье. Ни одна религия не смогла нарисовать убедительную картину рая (многие обходились без нее совсем). А мы сумели оживить эту отвлеченную абстракцию и населить ее блестящими серафимами, голубыми тюльпанами, мирными единорогами. Как ранние христиане в своих катакомбах, мы сравнивали жизнь настоящую и жизнь грядущую. Первая была знакома до оскомины, вторая — таинственно неизвестна. Но нас, как и тех христиан, не смущало незнание. Напротив, мы пользовались им, чтобы населить эту *terra incognita* самыми пылкими плодами нашей фантазии. Всему там хватало места, и мы голосовали за это "все": за хиппи и банкиров, за армию и пацифистов, за негров и ку-клукс-клан. Все казалось разумным и достойным. И все, как в Эдеме, уживалось рядом — волки с агнцами, миллионеры с безработными, правда с вымыслом.

Конечно же, романтики и интеллектуалы, мы ехали не за деньгами. Деньги лишь позолачивали радужную картину торжества Декларации прав человека. Мы только скромно рассуждали о преимуществах материальных стимулов, надеясь, что их маленькие частички перепадут и нам. Крохи со стола капитализма — курица, дублинка, старенький "форд". А подсознание, замирая и пугаясь, подсказывало: яхта, лужайка с бассейном, небольшая интеллигентная вилла.

Жалкие информационные недоноски, которые добивались до нас, лишь распяляли старинную страсть к чтению между строк. Левины пишут, что барахлит сцепление. Кацам весь круиз испортили дожди. Жанна жалуется, что норки дорогие.

Мы кричали, что готовы улицы подметать на свободе, сухари грызть, но читать Гумилева, что будем, как первоклашки, учиться у Запада. Но тайне верили, что сумеем раскрыть этим наивным туземцам глаза на тайны жизни. Что для нас найдется место мудрых эмиссаров, несущих свой бесценный опыт на алтарь демократии. Во всяком случае, и сознание, и подсознание сходилось в одном: терять нечего, не березы же?

Так мы попали под действие сурового и хитрого физического закона — Принципа неопределенности. В переводе на человеческий язык он гласит: никто не может оценить свое окружение, находясь внутри его. И мы не смогли. Наша жизнь растворилась в тысячах примет быта, и мы перестали ее ощущать, как воду, нагретую до тридцати шести и шести десятых. Но теперь, когда система перестала быть единственной, естественный путь был только наружу. А накопленный генами опыт гнал нас в ускоряющемся темпе скрипичного крещендо. Мы-то знали, что, если трамвай уходит, надо в него вскакивать, не вглядываясь в номер — другой может не прийти вовсе.

Принцип неопределенности и комплекс уходящего трамвая сделали свое дело. Мы оказались здесь быстрее, чем поняли, что оставили там.

На смерть слова

Историю человечества можно строить по революциям и по войнам, по модам или по сплетням, по пуговицам или прачечным. Но, наблюдая хаотическую смену императоров, следя за невнятными социально-экономическими формациями или рассуждая о якобы последовательных сменах художественных стилей, мы всегда молчаливо признаем, что у любого явления был смысл. Что все делается с определенной целью. Что государственный деятель, художественное произведение или религиозный культ существуют в соотношении с неким идеалом, то есть обладают направлением, находятся в причинно-следственной связи, составляют логически постигаемую иерархию. Вера в целесообразность вводит цивилизацию в стройную систему связей, где существуют полюса "правильно — неправильно" "истинно — ложно", "праведно — греховно". История предстает движением — не важно каким: прямолинейным, спиральным, круговым, — но движением, перемещающим человека в системе координат, образуемой осями времени и идеала. При этом вектор времени может быть направлен в прошлое — тогда философы и домашние хозяйки оплакивают Золотой век, когда мораль была тверда, а цены низки. Но вектор может стремиться и в будущее. В этом случае пророки прогресса говорят о славном алюминиевом царстве, в котором цен не будет вовсе. И уж совсем редко вектор времени превращается в скаляр-

ную величину. И тогда поэты и герои говорят, что “жить стало лучше, жить стало веселей”.

Но какую бы историософскую модель мы ни выбрали, определяющим фактором в ней будет то, что обеспечивает человеку цель — идеология. Идеология, а значит — и знаки, которые ее представляют. Рисунки на стене пещеры, кафедральные соборы, крашенные ленточки в петлицах, но прежде всего и важнее всего — слово.

Слово — главный инструмент идеологического воздействия, и по тому, какую роль оно играет в обществе, можно судить о характере исторического прогресса. Магические свойства слова у древних индийцев, слово как главный политический аргумент в истории классической Греции, слово — самоценный атрибут Бога в христианстве и слово как основа педагогического переустройства мира в просветительскую эпоху. На всех ступенях цивилизации человек верял слову свою свободу, доверял его могуществу, считал необходимым и обвинял во всех неудачах “неправильные слова”. Но при этом верил, что слово, как мир, содержит в себе скрытую истину — пусть непонятую, извращенную, но реально существующую.

История — это путь отрицания одних слов другими. И в смене идеологии всегда присутствовал смысл, оправдывающий изменения. Смысл, овеществленный в “других” словах.

Рост государства обратно пропорционален роли слова. Не зря греки считали оптимальным полис размером в несколько десятков тысяч человек — то есть такой, в котором оратора еще можно услышать. Чем больше опосредовано слово, тем меньше его влияние. Усложнение общества рождает противоречие целей и уничтожает представление об идеале как о единственно возможной цели. Так человечество, накопившее огромное количество слов, забывает о словах, единственно возможных. И тогда наступает кризис перепроизводства. Слова уже не знаки идеологии, а мнимые величины, пустые сочетания произносительных усилий. Словарь, газета, радио — все это уже низведение слова до уровня обихода. Человечество поменяло слово-откровение на бытовой лексикон и приобрело в результате обмена техническое могущество и благосостояние.

В XX век мы вступили с сознанием кризиса идеологии. И, как во время любого кризиса, идеология пыталась скрыть свое умирание пышной терминологией. Слово смертельно заболело много-

словием, идеология расцвела демагогией, а общество лишилось идеала. И тогда появились — возможно, последние — глобальные квазиидеологические системы — фашизм, коммунизм. Тут слово стало знаком не идеологии, а власти. Оно перестало что-либо обозначать и переродилось в клишированные, лишённые смысла заготовки, которые наполнялись псевдозначением в соответствии с тактическим моментом.

Слово, чтобы воздействовать прямо на подсознание, должно было избегать осмысления. Оно существует только в своей ситуативной системе, агрессией заменяя значение. Так верно найденные формулы типа “большевик”, “враг народа” определили развитие истории куда в большей степени, чем идеологические посылки марксизма.

Ощущение заката цивилизации пытались обосновать всевозможными теориями — от загнивания капитализма до истощения творческой эманации. Обнищание масс, обогащение масс, уничтожение аристократии, упадок демократии, усиление власти, расцвет анархии. Все эти взаимоисключающие причины вполне убедительно говорят об упадке нашего мира. И ни одна из них не может окончательно разрешить проблему величайшего и всеобщего декаданса, в котором нам предстоит прожить этот век — век безверия, век ложной веры или век, веру победивший. Все более очевидным становится лишь то, что нынешнее поколение рождено с ощущением кризиса и, в отличие от сотен предыдущих, уже лишено надежды на возможность его преодоления.

Главный симптом этой смертельной болезни — недоверие к слову. И даже более того — боязнь слова и ненависть к нему. С тех пор как слово перестаёт быть знаком идеологии, оно превращается в грозную опасность, подменяющую смысл бессмыслицей. Слово стало врагом, который тем страшней, чем легче он принимает обличье друга. Недоверие к слову (на языке философов — мисология) распространилось на все области человеческой деятельности и заразило своим антигуманитарным духом цивилизацию.

Люди, переставшие верить в возможность идеологического осмысления жизни, не верят и в традиционные институты, создающие идеологические формы мира. Например, в политику. От года к году падает число избирателей в демократических странах. Все менее глобальными и целенаправленными становятся политические программы президентов. Все меньше становится

доктрин, согласно которым общество должно двигаться к своему светлому будущему или возвращаться к заветам предков. Политика, теряя свое телеологическое направление, превращается в науку выживания. Ее главной целью становится достижение максимального комфорта при минимальных усилиях. Конечно, среднему человеку такая политика обходится дешевле, чем идеологически оправданные имперские планы. Но в своем новом качестве политика перестает быть общим делом, тем самым *res publica*, которым определялось движение истории на всем протяжении цивилизации. Для сохранения статус-кво не нужна идеология. Достаточно благоразумия и сознания собственной выгоды. Поэтому все меньше людей ходят к избирательным урнам, предпочитая большой политике политику малую — жильцы дома борются с его хозяином или соседи по городку открывают новую школу.

Наиболее чутким общественным институтом, отразившим кризис слова, была, естественно, художественная литература. Для нее этот кризис был самым болезненным — ведь он затрагивал сам строительный материал. Словесность стремилась уйти от слова.

Футуристический отказ от семантики, оставляющий слову лишь звуковую форму. Поток сознания, при помощи которого литература пыталась переступить через оболганные слова, войти в сферу неоформившейся мысли. Метод подтекста, с его стремлением вывести существенное за пределы слов, заменив высказывание умолчанием. Наконец, литература абсурда, так или иначе повлиявшая на все сферы современной жизни. Абсурд стал самой характерной приметой времени, его знаменем и лозунгом. Самой существенной попыткой отразить окончательную деградацию слова.

Хлебников, Хемингуэй, Кафка, Фолкнер, Беккет и многие, многие другие ощущали закат идеологии и мужественно пытались противопоставить разрушенным логическим и эмоциональным связям новую творческую реальность. Но все их достижения — лишь подтверждение мощного декадентского влияния мисологии. Следы борьбы литературы со словом, выраженной в художественных формах и приемах.

Еще резче и определеннее катастрофическое падение роли знака заметно в изобразительном искусстве. По сути дела, его современная история — это история тотальной войны за разрыв означаемого с означающим. В семиотике знаку свойственна дуалисти-

ческая природа: с одной стороны, он должен обладать определенным значением, а с другой — формальными средствами для выражения этого значения. Представим себе светофор, в котором красный цвет существует не для запрещения проезда, а для удовлетворения эстетического чувства регулировщика!

Современное искусство, как этот светофор, стремится расчлнить знак, лишив его идеологического оправдания. Абстракционизм, дадаизм, поп-арт, а особенно концептуализм перенесли акцент с создания художественного объекта на сам факт существования этого объекта. Искусство удовлетворилось констатацией собственного социального существования (человек с плакатом "Я — художник").

Человеческие отношения веками были основаны на идеологическом контакте. Институты семьи, дружбы, досуга развивались в традиционно осмысленных формах. ("Браки заключаются на небесах".) В нашу эпоху социальный опыт перестал быть значащим обменом идеологических посылок. Слова, обветшав и износившись, превратились в сентиментальную мишуру.

Кризис семьи и брака, возрастающее отчуждение людей, падение гуманитарного образования, сведение жизни к незаполненным содержанием формам — все это плоды деградации идеологии. Отсутствие цели и идеала лишили человеческую деятельность смысла, заменив перспективу демагогией, а слова — молчанием.

Конечно, и сейчас вполне достаточно людей и обществ, верящих в особое предназначение своей судьбы. Есть страны, существующие исключительно благодаря мессианской идее (Израиль). Религии и культы, расцветающие на вере своих адептов в высшую цель их жизни. Есть и политические доктрины, способные придать исповедующим их партиям телеологический вектор. Но простое наблюдение над общими приметами цивилизации, коллективное интуитивное ощущение говорит о том, что происходит постоянное падение роли идеологии в жизни человечества.

К этому, как и к любому историческому процессу, невозможно применить оценку "хорошо—плохо". Наше желание не может придать миру цель и направление. Как наши вкусы не могут определить пути развития культуры. Единственное, что в силах человека — приспособиться к новой ситуации. Привыкнуть к неидеологическим формам жизни. Взглянуть на них как на последовательную необходимость.

Без самоидентификации не могут существовать ни культура, ни ее носители. Прошли времена “европейских” мыслителей, “христианских” писателей, “универсальных” космополитических гениев... Наше время — это время тщательно пронумерованных культурных домов, и статус культурных приживал незавиден.

Можем ли мы, живя в Израиле и отождествляя себя с ним, идентифицировать себя как “русские по культуре”? Вряд ли. Декларативная “русскость” некоторых неместных евреев, а также их “универсализм” и “интернационализм” на самом деле являются лишь маскировочными цитатами культурного паразитизма. Лишенные национального самосознания паразиты обвивают стволы национальных культур: сегодня это будет русский ствол, завтра немецкий, французский или американский — паразит, как известно, растение универсальное. Мы же не для того совершаем процесс самоопределения, чтобы остаться при сомнительной самозванной идентификации.

Если мы не “русские по культуре”, то быть может мы “евреи по культуре”? Тоже нет. И не только потому, что у нас не было “еврейской культуры” в России, но и потому, что в Израиле не существует единой

Нелли Гутина

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

(доклад, прочитанный на симпозиуме “Русскоязычная культура в Израиле”)

“еврейской” культурной идентификации. В Израиле вчерашние жители Москвы или Триполи, потомки первых поселенцев и выходцы с Аравийского полуострова договорились между собой, что все они — евреи. Но у всех у них разные культурные корни, и по этим корням произошла культурная селекция.

Это заставляет нас задать себе ряд абстрактных теоретических вопросов: по каким критериям мировая культура выдает “удостоверения личности”? Какими критериями определяется творческая идентификация тех, кто причастен к литературному творчеству?

С этой точки зрения интересно подойти к проблемам африканских писателей. Элита африканских стран лишена родного языка и шансов на его быстрое развитие. Африканские писатели пишут по-французски или по-английски.

Читателей — а также издателей — они находят где-то в Европе, а от своих естественных читателей отделены языковым барьером. Разумеется, это ненормальное положение порождает множество творческих и психологических проблем. Но для нас африканский культурный парадокс интересен полным отсутствием связи между языком и культурной идентификацией. Несмотря на прекрасный французский язык (и незнание арабского) и полную освоенность во французской культуре, никто не назовет алжирского писателя и поэта Малека Хаддада “французским писателем”, да и ему самому не придет в голову причислять себя к французской культуре.

Справедливо полагая, что единственный надежный критерий идентификации — национальное самосознание, то самое самосознание, которое позволяет африканским “англофонам” и “франкофонам” отождествлять себя со своей страной и континентом, мы идентифицировали себя как “израильяне”, а те, кто причастен к литературному творчеству — как “израильские писатели”. “Русскофоны”, если угодно.

В этой попытке “исраэлизации” мы тут же уткнулись в стену иврита. В двери Союза израильских писателей долгие годы безуспешно стучали пишущие на идиш. По-арабски. По-русски. Перед каждым новоприбывшим писателем стоял невероятный пример Эфраима Кишона. Приехал в страну. Овладел ивритом. Стал израильским писателем. Приобрел международную известность. Исраэлизация только через ивритизацию.

А между тем дело было не только в иврите. За израильской литературой стояли культурная революция, заселение земель, подполье, независимость, военный эпос, археология и мифы. Наша

коллективная память была забита совсем другим. С этого началась наша культурная драма. Оторвавшись от русского берега, отдаленные от израильского, по крайней мере, несколькими поколениями, мы оказались на “ничейной земле”.

Опоздав на израильский “Дикий Запад”, мы зато успели как раз на “этнический фестиваль”. В самоидентификации наступило некоторое прояснение. Израильский народ состоит из этнических групп “марокканцев”, “йеменитов”, “поляков”, “русских” и других. Идентификация “израильтяне” остается только за коренным меньшинством. Оно же имеет монополию в установлении культурных норм, но становится более терпимым к “этносу”. Каждая этническая группа остается при своем фольклоре, традициях и культурных корнях. Все они претендуют на включение в израильскую культуру, которая вдруг открыла для себя радости “плюрализма”. Израильские фольклорные ансамбли пляшут хору, но потом меняют юбки на шароварчики, и прыжки сменяются изящным йеменитским шагом. Потом йеменитский шаг переходит в краковяк и польку, потом надевают черные брючки, наклеивают бородки и пляшут хасидское. Потом... В общем, дружба народов. То есть дружба народа. Потому что мы один народ. Расфасованный согласно культурным корням. Корни все стараются беречь.

Однажды в популярной телевизионной программе появилась некая хранительница традиций и корней из марокканской общины — исполнительница танца живота. Уроженка Израиля, она с пятилетнего возраста практикуется в танцах живота, совершенствуясь при помощи египетских киноленок. Сбросив меховое мантио, оставшись в блестящих тарелочках на грудях и в прозрачных вуалях, ниспадающих между ног, она довольно профессионально исполнила свой номер. Но тех, кто видел тот же танец в Египте, не проведешь: “Ты думаешь, твой танец эротичен?” — спросил ведущий с великим сомнением в голосе, потому что от ее исполнения веяло холодом иерусалимского камня. “Немножко”, — ответила она. “Мне казалось, — продолжал ведущий, — что для танца живота нужно быть немного потолще”. “Ерунда, — ответила танцовщица, — просто египтянки склонны к полноте”. В комплектации ли тут было дело или в чем другом, но ведущий был озадачен даром: эта дама, высокая, светловолосая, с легким французским акцентом, в роли восточной танцовщицы выглядела совершенно не АУТЕНТИЧНО.

Мы — тоже. В роли представителей и носителей русской куль-

туры. Потому что, пока марокканцы танцевали танец живота, мы писали романы на русскую тему и сочиняли стихи о березах. Ни танцы живота, ни стихи про березы в израильскую культуру не вошли.

Израильские почвенники отнеслись к этническому фестивалю как к культурной контрреволюции. Марокканцев призывали не отмечать их праздник "Мимону", потому что этот праздник возник вне страны; другие этнические группы, в том числе и нас, просто игнорировали. "Эта страна будет принадлежать тем, кто сумеет ее воспеть, — писал известный публицист и писатель Амос Кенан. — Можно воспеть ее на разных наречиях, но ее, а не Москву или Касабланку!"

Постепенно "этнос" начал претерпевать изменения. Йеменитские певцы стали меньше петь про любовь, свадьбу и раввина Шабази. Под бубны, пританцовывая и чувственно извиваясь, они пели: "В нашей стране на праздник независимости поднимем наш флаг" (не слышали? "Бемэдинатэйну бе хаг ацмаутейну нарим эт дгалатейну"). Это уже была этническая по форме, израильская по содержанию культура. Это что-то напоминало. Мы тоже ринулись творить свою русскую по языку, израильскую по содержанию культуру. Рецепт прост, надо одни идеологические признаки заменить другими. Например, русский журнал назвать "Сион", что должно указывать на его "израильскую" принадлежность. Или уточнить географические координаты. Скажем, издательство будет называться "Москва — Иерусалим", чтобы ясно было откуда — и куда.

Добавить немного еврейского универсализма: "Время", то как же без "Мы"? В произведениях такой культуры на Голанских высотах начинается Вторая мировая (Великая Отечественная?) война. На пляжах Эйлата разыгрывается горьковская драма. А перипетии Мастера и Маргариты продолжают в Иерусалиме.

Но национальное самосознание не подменишь декларативным патриотизмом, а культурную идентификацию — формальными атрибутами национальной — или этнической — культуры. Прием не удался там, не удался и здесь. Ни йеменитские бело-голубые напевы, ни наши произведения на "местную тему" частью израильской культуры не стали.

Тем временем культура коренного меньшинства становится все более почвеннической, охранительной, закрытой. Эфраима Кишона перестают читать в Израиле, но зато запоем читают в Германии — и

говорят, что в переводе на немецкий его произведения звучат лучше, чем на иврите. Некоторые израильские литературоведы утверждают, что Кишон все-таки писатель немецкий — несмотря на то, что пишет на иврите, на изучение которого потратил столько усилий, что “их вполне могло хватить на то, чтобы стать ядерным физиком” (по выражению самого Кишона). Ивритизация больше не является гарантией истраэлизации.

Где же критерии культурной идентификации? Можно ли, перефразируя Сартра, сказать: “Израильский — русский, французский, немецкий — писатель — это тот, кто себя таковым считает”? Хорошо Эткинду, хорошо Копелеву... Они — могут. У них — никаких проблем с идентификацией. Им бы только выяснить отношения с коренными русскими — кто любит, кто нет, кто “фил”, а кто “фоб”. Нам бы их заботы. Вот если б они шлепнулись, как мы, о свою землю, то знали б, что такие понятия, как корни, национальная история и почва — это не уловки, якобы изобретенные русскими “шовинистами” специально против них.

Быть может, вопрос творческой и культурной идентификации является второстепенным? Сторонники тезиса о “всеобщности” культуры утверждают, что Писатель, Художник, Творец — это имя собственное и не суть важно, какое национальное прилагательное его сопровождает. Культурная ценность творчества и качество его продукта само по себе освобождает его носителя от предъявления культурного паспорта — любая национальная культура предоставит ему убежище. Действительно, американская культура приняла русского Набокова. Но обрел ли сам Набоков культурный дом? Его постоянная озабоченность проблемой творческой самоидентификации — явное доказательство того, что ни мировая слава, ни величина таланта, ни даже обретение нового культурного дома не освобождают от мучительных вопросов: “Кто я? Откуда? Куда?” Творчество — это личное достояние художника, которое он хочет завещать своим истинным культурным наследникам. Вполне законно встречное стремление национальной культуры сохранить “семейное достояние”. Советская культура равнодушна к определению Набокова как “американского писателя” (Британская энциклопедия). Русская культура это когда-нибудь оспорит.

Кроме всего прочего, талант — не воздушный шар, витающий в разреженной атмосфере космополитизма, а растение укорененное, и национальная почва — необходимое условие для его произрастания. Русские эмигранты недаром жалуются на творческое уя-

дание в ностальгических оранжереях. У нас тоже дела обстоят не лучше. У нас сплошь и рядом страдают распадом творческой личности — одной ногой там, другой здесь, чаще всего причисляя себя к “экстерриториальной” общине “пишущих по-русски”. У нас совершаются отчаянные попытки переправиться на израильский берег на пароме перевода, но, увы, — переправлять нечего. Культурная деятельность нашей общины напоминает невозделанное поле, где среди трупов творческих самоубийц пышно произрастает творческий бурьян.

Стукнувшись лбом об ивритскую стену, запутавшись в лабиринтах самоидентификации, когда еврейскости — нет, израэлизации — нет, и этничности — тоже нет, когда все подходы к израильской культуре упираются в тупики, оглянемся назад на покинутые культурные берега. Легко и удобно обвивать могучий ствол богатой культуры. И тяжело пускать корни в неподатливой почве. Но паразиты могут расцветать пышным цветом, лишь когда национальная культура переживает период империалистической экспансии, захватывая чужие культурные пространства. Они неизбежно отцветают в период возвращения национальной культуры к своим собственным истокам — что и происходит сейчас в России. Поэтому для нас пути назад нет. Нам маячат другие культурные берега. Оттуда тянет запахом нашей почвы.

Пока мы бродим почти впустую в лабиринтах идентификации (такова цена несколько затянувшихся блужданий — и заблуждений — наших предков), кое-кто нащупывает очередные лазейки. Лично для меня выход из темных лабиринтов освещен так называемым “марокканским” искусством Шломо Бара. Бар поет и рассказывает о своем детстве в марокканской деревне и о своих предках; о том, как приехал в новую страну и пытался уйти от себя, быть не тем, кто он есть, а кем-то другим; как вернулся назад к себе, но переосмыслив свое прошлое и корни. Свой ансамбль он назвал “Естественный выход” (он же “естественный отбор”), а программу “Связующая нить”.

Он поет о том, как трудно найти себя в новой жизни, адаптироваться в новых условиях и какую при этом приходится платить цену; он рассказывает о многодетных семьях, преступности, социальной несправедливости. Бар не рядится в фольклорные одежды, а синтезирует восточное с западным, привозное с местным, хасидское смешивает с индусским, стихи поэтов из марокканской общины перевел на иврит, а Альтермана поет на мароккан-

ский лад. Он строит из всех имеющихся в израильской культуре элементов, и весь Израиль пришел посмотреть на его эксперименты. Старый добрый израильский патент: строй страну — и себя в ней; твори культуру — и себя в ней; создавай — перевоссоздаваясь. Вот он, “естественный выход” из лабиринта, вот она, “связующая нить” общей идентификации! Рецепт Бара прост, но требует терпения: бери марокканскую культуру; подрежь корни; пересади на израильскую почву; привей ей несколько местных культур; дождись новых побегов; отрежь, привей к израильскому стволу... И так, медленно, постепенно — целый ботанический сад мутаций, целый народ мутантов. И происхождение указано на табличке: “Культура “Мимона”. Родина — Марокко. В Израиль завезена в 1956 году. Претерпела ряд мутаций, прежде чем окончательно привиться на израильской почве”. Выход Бара более “естественный”, чем метод академика Лысенко, предлагаемый израильскими почвенниками: возьми семена ячменя, посади в израильскую почву, поливай волшебной водой из местных колодцев — получишь пшеницу. Самое удивительное, что здесь это однажды получилось. Очевидно, в теории Лысенко все-таки что-то было. Беда в том, что культурные революции не происходят так часто...

И потому — “Естественный выход”. Место танцам живота — на марокканских вечеринках, место песен под Высоцкого — на русских сборищах. И тем, и другим предстоит медленная смерть в этнических гетто. В суровом климате израильской культуры выживают только мутации. И потому отделимся от паразитов, стряхнем увядшие листья ностальгии — и будем терпеливо ждать новых побегов.

“Только группа, обладающая богатой коллективной памятью и выжавшая ее в творчестве, готова к плюралистическому контакту с другими источниками”, — утверждает израильский специалист по общинной и этнической социологии д-р Ионатан Перес.

Вероятно, он прав. Потому вернемся домой и разберем наконец, наш до сих пор пребывающий в беспорядке культурный багаж. Где корни, где память и где то самое творчество?

В отличие от восточных общин, которые зачастую были ассимилированы в странах их прежнего проживания на органическом уровне, мы были затронуты руссификацией, но не проникнуты духом. Мы были ассимилированы только определенной урбани-

тической прослойкой. Ни мы, ни наши предки хороводов не водили, в сарафанах не расхаживали и частушки не распевали. Поэтому мы не завезли сюда никакого русского фольклора (то, что определенные элементы этого фольклора были завезены сюда лет сто назад и легли в основу культуры коренного меньшинства — это совсем другая и не “наша” история). Наша “этничность” — это не песни и пляски, а литературные вечера и толстые журналы.

У нас есть также богатая коллективная память, которая сно-ва отфутболивает нас к русской литературе.

На первый взгляд. Потому что еще не ясно, насколько культурная традиция русских евреев является “русской”.

Евреи в России и в СССР в своем творческом самовыражении пользовались двумя языками. Один из них — европейский язык идиш, второй — русский. Оба эти языка не имеют отношения к современной израильской культуре. Но оба ОНИ — и в равной степени — имеют отношение к культурной традиции русских евреев. Один из этих языков — идиш — сам по себе служил признаком идентификации на низшей досионистской ступени национального самосознания, на втором были написаны лучшие образцы сионистской публицистики. В промежутке между этими двумя ступенями были евреи, которые писали на идиш, автоматически выбыв из сферы русской культуры, и евреи, которые писали по-русски, автоматически попав в сферу русской культуры. Например, Бабель несет в себе явные признаки еврейской идентификации (даже “русскость” его языка когда-нибудь оспорят русские литературоведы). Бабель не был сионистом. Шолом-Алейхем — тоже: оба они находились на низшей ступени национального самосознания. Возможно, чаша русской словесности отстоится во времени, и тогда будет ясно, кто имеет отношение к русской культуре, а кто — к культурной традиции русских евреев. Сейчас на российском горизонте появились благоприятные тенденции в лице русских националистов, Истинный национализм, с его органическим чутьем своего коренного начала, антиимпериалистичен по своей сути. Не исключено, что русская национальная культура в конце концов отбросит все то, что с такой жадностью заглотала культура советская. В таком случае при разделе наследства, оставшегося после советской культурной империи, в выявлении наших корней наступит некоторое прояснение. Если при этом кто-то захочет естественный химический процесс отделения масла от воды назвать “антисемитизмом” — пусть себе занимается игрой

слов. Мы же не для того совершаем процесс культурного самоопределения, чтобы заниматься инфантильным выяснением отношений. Справедливого распределения наследства — вот чего мы хотим.

Возможно, выявив свои собственные культурные корни и развивая культурную традицию русских евреев здесь, мы сможем перевоссоздать ее в новых условиях и “сварить” такой продукт этнической культуры, который будет потребляться на общем израильском уровне. Здесь мне бы хотелось внести поправку в высказанное д-ром Пересом мнение, будто общинная культура не может успешно развиваться при отсутствии контактов с той более широкой культурой, внутри которой она произросла (д-р Перес имел в виду при этом общинную культуру восточных общин и ее связь с мусульманским миром).

Действительно, общинная АУТЕНТИЧНАЯ культура не может развиваться сама по себе. Но общинная МУТАЦИОННАЯ культура может развиваться, и развивается самостоятельно. Культура эмиграции не может существовать без связи с метрополией, культура иммигрантов — может.*

Может, но не обязана. Отдельность идентификации не исключает ни контактов, ни даже влияния. Именно отдельность предполагает культурный обмен, тогда как симбиоз делает его бессмысленным. Даже в обмене коммерческом — этой наиболее космополитической сфере человеческих отношений — универсально потребляемые продукты несут на себе национальные печати, и, если американские джинсы превратились в интернациональную униформу, печать их “идентификации” не стирается. То же и в культуре. Что может быть более итальянским, чем фильмы Феллини, и более русским, чем романы Достоевского? Только тщательно вываренные в национальном бульоне продукты могут быть усвоены интернациональной кухней.

Наша мутационная культура, когда она возникнет, может быть только заинтересована в культурном обмене с русской культурой.

* У нас время от времени появляются первые ростки мутаций. Мне кажется, ярким примером попытки создать нашу мутационную культуру можно назвать книгу Ю. Милославского “Укрепленные города”. К сожалению, всякие ростки нуждаются в поливке. У нас нет литературной критики, которая могла бы выполнять эту важную роль. Если бы наши профессора-слависты чуть внимательнее отнеслись бы к мутации, вместо того чтобы с трибуны симпозиумов призывать к ивритизации — с русским акцентом, — то у нас, возможно, было бы больше мутантов.

Под русской культурой мы имеем в виду русскую национальную культуру — в СССР и в эмиграции, а не советскую культуру в СССР и даже в эмиграции (потому что даже антисоветская по идеологии культура может быть советской по сути). Против многолетних попыток подменить национальное самосознание идеологией, а национальную идентификацию формальными атрибутами русская культура выработала ряд мер самозащиты. Одни русские литераторы решают проблему отделения русской идентификации от советской — эмиграцией, другие уходят в деревенское "подполье". Советская культура провинциальна и бесперспективна в плане культурного обмена, русская же культура — в СССР и в эмиграции — является девственной землей мировой культуры, куда не достиг ледник урбанизации и американизации. Мы далеки от мыслей завозить сюда "русскую культуру в целлофановой упаковке", но израильская культура, остро реагирующая на угрозу американизации, действительно нуждается в некоторых уравновешивающих веяниях. Проводники чуждых влияний здесь — это на самом деле те лауреаты Нобелевских премий, которые, временно покидая свои Бруклины или Манхэттены, приезжают побродить иерусалимским холмам.

И наконец, определив себя русскоязычными мутантами в израильской культуре, выберемся ли мы из лабиринтов идентификации? Нет. Вся израильская культура и в первую очередь задающее тон коренное меньшинство тоже бродят в лабиринтах. Нам остается только ухватиться за руку того, кто явился до нас и который сам держится за руку того, кто его опередил, и идти цепочкой, пока тот, кто впереди, не увидит свет.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Нина Воронель. "Прах и пепел" — пьесы о жути советского бытия, его абсурдной свирепости и ошеломляющей нищете; вошедшие в сборник пьесы поставлены на израильском и британском телевидении, экранизованы в немецком кино и поставлены в Израиле и США.

Цена 8 долл. (в Израиле — 250 шек.)

"Foundation Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

(Лия Владимировна. "Снег и песок". Тель-Авив. 1982)

"Снег и песок" — четвертая книга Лии Владимировой. Ее поэзия, уже очень хорошо известная читателям русских стихов, — явление вызывающе-своеобразное. Стих ее стоит в позиции той почти демонстративной строгости и скромности, которая делает упоминание о "вызове" по меньшей мере странным. Но судите сами: разве нет вызова в самовольном выборе места и времени, ровесников и современников, в игнорировании одних примет и подчеркивании других? Лия Владимировна — не современница ни одному из своих поэтических сверстников. Их заботы — не ее заботы, их строки в ней не отозвались, их славой она не взволнована. Ее стихи принадлежат совокупному времени классического русского стиха и отзываются, как на последнюю лирическую весть, на голоса Фета, Блока, Анненского. Ее ближайшими соседями по времени оказываются Блок и Ахматова. Легко и свободно она находит для себя возможность оставаться, не бунтуя, внутри знакомых интонационных переходов разработанной за два века классической русской ритмики и все-таки выражает себя целиком. Конечно, Лия Владимировна помнит порядковый номер тысячелетия, и беды века страшноватым оком глянули в ее четверостишия. Но вот разменная мелочь десятилетий не бренчит в ее поэтическом багаже.

Все ее стихи, несомненно, русские — по заявленной приверженности к данной поэтической традиции, по бесспорной принадлежности к данному кругу литературных фактов. Все же мы их условно разделим на "собственно-русские", то есть написанные в России, и "израильские", то есть созданные послеотъезда из нее.

Ее русская география всегда была как бы произвольна, размыта в некоем среднерусском пространстве, где упоминание о море уже выглядело напряженной экзотикой, а наиболее точными географическими приемами оказывались береза и река, поле и куст да огненный осенний лист. Звон трамвая, шум очереди в гастрономе, змеиный шип коммунальной свары — не случайные, но редкие географические метки, подшитые к подолу ее метелей, ее радуг, ее ливней.

Печаль и радость природной жизни, растворяющие печаль и радость ее собственной души, приметы поэтической родины ее стиха — все это, разумеется, целиком осталось с ней и после переезда.

Но перемена знака судьбы — это все та же лирическая судьба русского поэта, перемена реального пространства наложила на ее стихи резкий двойной отпечаток, похожий на тот, который получается, когда фотограф делает два снимка на один и тот же кадрик целлулоидовой пленки. Ее по-прежнему больше занимает смена месяцев года, чем течение лет. Снег, листо-

пад, метель и летний дождик в ее стихах ничуть не утратили яркости, но видятся теперь сквозь зной, жажду и хамсин. Февраль здешний, летний, беззаконный, подложен под московскую метель и "правильную" русскую стужу. Ноябрь и апрель тревожат несходством сходного. И знак недоумения перед прихотью распорядительной судьбы читается сквозь эти "сдвоенные" пейзажи. Географические указатели "Хермон", "Арад", "Эйлат", "Натания", по счастью, не отменяют и не стирают этого недоумения.

Н. Дан

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ
("Континент", № 34, Париж, 1982)

Новый номер "Континента" не предлагает крупной прозы, а составляющие его литературный раздел рассказы и отрывки неравноценны. Слаб и невыразителен, к сожалению, рассказ словацкого писателя Д. Шимко, изображающий будни раздавленной Чехословакии; перегружен садизмом отрывок из романа румынского писателя П. Гома, должностующий представлять "аллегории на тоталитарные темы"; непонятны без контекста (музыки и исполнения) песни польского барда Я. Келюса, переведенные Н. Горбаневской. На этом фоне выделяется большой (около 40 страниц) рассказ А. Суконика. Перед нами — поток размышлений человека, которого душит брезгливое отвращение к себе, к окружающим, к советской жизни, к жизни в Америке, по всему миру. Это даже не рассказ, а крик отчаяния неприкаянного человека, проза на грани самоубийства, захватывающая искренностью и отталкивающая безысходностью. В сравнении с ним помещенный далее рассказ Л. Штерн кажется незатейливо оптимистичным, хотя и в нем речь идет о неустроенном эмигранте, его мытарствах, комплексах и одиночестве; тут, однако, автор бросает своему герою соломинку надежды, такую улыбку Кабирии сквозь слезы. Оба рассказа типичны для сегодняшней эмигрантской литературы, которая все еще заигнотизирована сопоставлением советской жизни с западной, прежней — с новой и эксплуатирует, в сущности, всего два (одинаково тривиальных) сюжета: "экзотика" новой жизни — или ее "сходство навыворот" с прежней.

Поэзии в номере повезло больше. Подборки И. Лиснянской, Ю. Кублановского и Б. Евгеньева образуют интересный триптих, изображающий типичные душевные состояния современного русского человека. У Кублановского это человек, уже обреченный то ли на арест, то ли на отъезд и потому с особой нежностью вглядывающийся в лицо России; Евгеньев заявляет о своем решении "остаться" и искать "свободу в неволе моей" — в облаках, в музыке, в Боге; Лиснянская фиксирует состояние непоправимого, но еще неясно куда ведущего надлома, когда душа захлестнута тягостными предчувствиями и томительными упованиями. Конечное упование всех троих — на Россию и Бога — стало уже таким обязательным в современной русской поэзии, что иногда начинает казаться каким-то общим ее паролем. Но, может быть, это просто ее общее заклинание?

В публицистическом разделе останавливает внимание прежде всего статья Э. Беттицы, который объясняет становление советского "тоталитаризма распадом "незрелого русского гражданского общества" под тяжестью мировой войны. Крах общественной структуры, по автору, породил тот хаос и пустоту, которые были заполнены коммунизмом, немедленно начавшим создавать новую, мнимую реальность, где базисом стала идеология, а надстройкой — подчиненные ей экономика и быт. Концепция, скорее, поэтическая, нежели научная, но какую-то давно знакомую и не названную особенность русской революции она ухватывает несомненно — достаточно вспомнить "Двенадцать". Хаос, позволяющий "что угодно" творить "сначала" — вот возможная гипнотизирующая сила революции, которая притягивала к ней различных интеллигентов, — об этом пишет в том же номере Б. Суварин.

Э. Коган анализирует солженицынский "миф о Ленине", точнее — два мифа: о Ленине-искусителе "нерусских кровей", от которого Россия понесла революцию, и о Ленине-ведьме, зачавшей революцию от еврейского Дьявола-Паруса. Эта пронциательная статья так и тянет истолковать все творчество Солженицына как попытку создания всеохватывающего мифа о России XX века.

Занимательна статья В. Тетерятникова о разоблачении фальшивых икон, проданных Советами американскому миллионеру и недавно перепроданных на "аукционе века" за 3 млн. долларов! Смущает только, что автор возводит этот анекдот в ранг историко-политического обобщения, из которого делает некие выводы "в пользу России" в давнем ее "споре с Западом". Помнится, раньше этот спор имел более "метафизический", что ли, характер.

В "Колонке редактора" В. Максимов убедительно и страстно атакует "логократию" — систему клише, затемняющую сознание людей; в данном случае — "левых" клише. Действительно, политическое пресмыкательство некоторых западногерманских интеллектуалов перед идолом "левизны" симпатий вызвать не может. Сложнее, однако, представляется дело, когда речь заходит о писателе такого масштаба, как Маркес. Достаточен ли чисто идеологический подход в таких случаях? Можно ли делить литературу и культуру только по признаку: "наши — не наши"?

Этот вопрос можно адресовать и журналу в целом. Кажется, что порой его идеологическая позиция перерастает в идеологический подход. Это насто-раживает. Ибо устремление на идеологическую сиюминутность (равно, впрочем, как и устремление на внеидеологическую "вечность") ведет, как правило, к упрощению реальности.

Р. Блехман

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Главному редактору журнала "22"

В Вашем журнале "22" (за номером 27) было опубликовано сочинение некоего Иерухама Абрамова (по его словам — бывшего уголовника), которое сопровождалось небольшим предисловием. Вот об этом предисловии и пойдет здесь речь.

Вступительная эта статейка не имеет никакого отношения к сочинению И. Абрамова и целиком посвящена другой книге — моему роману “БЛАТНОЙ”, который, кстати сказать, впервые был издан на немецком языке десять лет назад, затем выходил во Франции, Испании, Японии, Америке, Израиле, а недавно опубликован в Нью-Йорке на русском языке. Должен заметить, что меня, прежде всего, удивил тон этого предисловия.

Статьйка написана до странности злобно, грубо, с каким-то даже ожесточением. Автор яростно поносит мой роман (а заодно и лично меня) и не стесняется в средствах... Чем это объяснить? И как это, вообще, возможно? Создается впечатление, что И. Абрамов — помещая в Вашем журнале свой опус — постарался, первым делом, оплевать, обгадить предполагаемого конкурента... Это все, конечно, не ново. Однако, в современной западной прессе подобные методы давно уже не популярны. Существует определенная этика, которая таких вещей не допускает. И если об этом не знает И. Абрамов, — судя по всему, человек дремучий, невежественный, — то уж Вы-то, как главный редактор, обо всем осведомлены превосходно! Именно поэтому обращаюсь с претензией к Вам. Сам-то Абрамов, вообще, не стоит серьезного разговора. Я легко мог бы ответить на любой его упрек, но не считаю нужным затевать с ним спор. Я не любитель унылых базарных перебранок.

Хотя, могу, между прочим, дать небольшую справку — в основном, для Вас, а не для Абрамова. Например, — относительно пресловутых “международных конференций”. Абрамов утверждает, что “никогда и нигде не слышал” о таких вещах... Что ж тут можно сказать? Очень жаль, что не слышал. А между тем, подобные интернациональные сборища (так называемые “Большие Толковища”) случались неоднократно, главным образом — на Юге России... Блатной мир вообще ведь, по сути своей, интернационален! И на Юге — на черноморском побережье — постоянно встречается и смешивается множество самых разных рас.

В Одессе, к примеру, еще до революции, несколько раз происходили такие сборища — с участием еврейских, русских, греческих, польских и румынских блатных. Происходили они и во время гражданской войны, когда безызывестный налетчик Мишка Япончик собирал и организовывал черноморское воровье, для оказания помощи атаману Григорьеву.

Случались Большие Толковища и позднее — в годы нэпа... И послевоенное Львовское сборище было, в сущности, таким же, традиционным, — ведь создавали его старые одесситы и ростовчане!

И сейчас, здесь, на Западе, — происходит в принципе, то же самое... Встречаются в Марселе югославы, арабы и корсиканцы; встречаются в Америке представители разных группировок и национальностей... Но это уже другой разговор.

Заявление Абрамова, стало быть, свидетельствует о том, что он — мягко говоря — знает крайне мало... Однако учить его и воспитывать, — это задача уже не моя, а Ваша; коль уж Вы вытащили Абрамова на свет, Вам и нести за него ответственность!

Но это все — еще не самое главное. Это еще, так сказать, цветочки... Поговорим теперь о вещах гораздо более серьезных.

Стремясь всеми силами расправиться со мной и утратив всякое чувство

меры, И. Абрамов дошел, наконец, до того, что прямо и недвусмысленно обвинил меня в убийстве!

Вот так, весьма своеобразно, заканчиваются иногда литературные конфликты. Если бы все это происходило в России, да еще — в сталинскую эпоху, — заявление И. Абрамова могло бы привести к трагическим результатам... Но не чем же, все-таки он основывается? Откуда черпает сведения? Да всеоттуда же, из моего романа "Блатной".

Абрамов, очевидно, не знает и не догадывается, что герои романов никогда не совпадают полностью со своими прототипами, с реальными фигурами, — и что детали из художественных книг не имеют никакой юридической силы... Но самое гнусное заключается в том, что Абрамов — пользуясь деталями романа — в то же время, сознательно их искажает!

В моей книге, черным по белому, сказано, что убийца остался неразоблаченным, нераскрытым; его так и не нашли... Так на каком же основании он обвиняет теперь меня? Может быть, Абрамов поступает так по привычке? Может, он и раньше так делал — занимался фальсификациями, распространял ложные слухи? Ведь были же в России времена, когда клеветники и лже-свидетели ценились дорого! Да и сейчас еще ценятся... И, судя по всему, — не только в одной России!

Но — шутки в сторону. Поскольку обвинение в убийстве адресовано прямо ко мне и, к тому же, опубликовано в журнале, я не могу уже воспринимать это с прежним, присущим мне юмором. Дело получается нехорошее, скверно пахнущее... А такие вещи я не привык прощать.

Я требую, прежде всего, чтобы в журнале "22" — на первых его страницах — было опубликовано это мое письмо, причем, без сокращений и правок.

Кроме того, я настаиваю на то, чтобы И. Абрамов, а также и Вы, главный редактор журнала, принесли мне публичные извинения.

Примите мои заверения в совершеннейшем почтении

Михаил Демин

От редакции

Как главный редактор журнала, хочу принести глубокие извинения г-ну М. Демину за допущенную по отношению к нему грубую бестактность в предисловии к публикации воспоминаний И. Абрамова "Проклятой воровской дорогой" ("22", № 27). Разумеется, проверять, кто из вспоминающих об уголовных лагерях — И. Абрамов или М. Демин — прав, не входит в задачу журнала, но И. Абрамов позволил себе по отношению к М. Демину ряд резкостей и необоснованных обвинений, которые вызвали ответную резкость г-на Демина, и я надеюсь, что публикация этого ответного письма и искреннее сожаление, побудившее меня к извинениям, исчерпают досадный инцидент, не входивший в намерения редакции и журнала.

Р. Нудельман

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА" НА 1983 ГОД

Условия годичной подписки: в Израиле 1400 шекелей (можно в два чека с разрывом в месяц), за рубежом 35 долларов с доставкой обычной почтой (авиапочтой в Европу — 45, в США — 51 доллар). Для организаций — 44 доллара. Заказы и чеки направлять по адресу: "22" P.O.B. 7045, Рамат-Ган, Израиль.

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Наш журнал существует исключительно на ваши деньги. Инфляция ставит его существование под угрозу. Мы просим всех, заинтересованных в сохранении журнала, присылать пожертвования в "Фонд друзей журнала "22" в Израиле и на Западе". Любые пожертвования будут приняты с благодарностью.

В марте-апреле журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: проф. Пятецкий-Шапиро (Рамат-Авив) — 500 шекелей, Вайсман (Цфат) — 300 шекелей, Финкельштейн (Ашдод) — 200 шекелей и И. Драбкин (США) — 10 долларов. Мы благодарим этих подлинных друзей нашего журнала.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №
Прилагаю чек (чеки) № на сумму
Журнал прошу выслать по адресу

.....
(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала
(фамилия)



